

# Раздел 10

## ФИЛОЛОГИЯ

Ведущие эксперты раздела:

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЖАТКИН – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой перевода и переводоведения Пензенской государственной технологической академии (г. Пенза)

ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА ВЛАДИМИРСКАЯ – доктор филологических наук, профессор Алтайской академии экономики и права (г. Барнаул)

УДК 811.112.2'42

*Beresneva V.A. LINGUISTIC SYNCRETISM AS EMBODIMENT AND REFLECTION OF THE UNITY OF THE WORLD.* In the article linguistic syncretism is considered taking into account philosophical and psychological theories considering language as a special embodiment of existence and the laws of material world development. The objective status of linguistic syncretism as a reflection of ontological syncretism, as well as the syncretic character of mind is stated.

*Key words:* linguistic syncretism, unity of the world, the form of materializing the spiritual, embodiment of ontological syncretism.

*В.А. Береснева, доц. каф. романо-германской филологии Вятского государственного гуманитарного университета, г. Киров, E-mail: avis@novo.kirov.ru*

### ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ И РЕФЛЕКСИЯ ЕДИНСТВА МИРА

В статье, с опорой на достижения философии и психологии лингвистический синкретизм, осмысливается язык как особая форма воплощения бытия и законов развития материального мира. Констатируется объективный статус языкового синкретизма как выражения онтологического синкретизма, синкретичности мышления.

*Ключевые слова:* лингвистический синкретизм, единство мира, форма материализации духовного, воплощение онтологического синкретизма.

Проблема синкретизма – хотя и не новая для лингвистики – все еще не нашла окончательного решения. В то время как взгляд на синкретизм как нерасчлененность явлений на начальных стадиях их развития представлен в науке о языке достаточно широко, существование синкретизма после размежевания элементов синкретичных языковых явлений признается немногими. Даже если рассмотрение вопроса о языковом синкретизме на современном этапе его развития получает положительный исход, столкновение синкретизма в лингвистике, по-видимому, не может быть оценено как вполне удовлетворительное. Характеристика языкового синкретизма в своем развитии часто не идет дальше структурной фазы, ограничивается обсуждением формальных или нормативных аспектов синкретизма [1, с. 1784; 2, с. 18]. Порой наблюдается подмена понятия синкретизма понятиями нейтрализации [3, с. 343], контаминации [4, с. 446], игры слов [5; 6, с. 24–25]. Встречаются в литературе и довольно противоречивые, на наш взгляд, суждения, объединяющие различные категории формально-содержательной связи в языке. Говорят, к примеру, о «синкретизме значений многозначного слова» [7, с. 74], синкретизме «функциональных омонимов» [8, с. 15–17], о совмещении при синкретизме «признаков омонимии и многозначности» [9, с. 71] и т. д.

В среде специалистов отсутствует необходимое понимание того, что структура научного знания о синкретизме в обязательном порядке должна также включать и то, что принято называть основаниями научного знания. Речь здесь прежде всего идет о таких составляющих блоках оснований науки, как

научная картина мира, а именно тот ее аспект, который соответствует представлениям о структуре и развитии синкретизма, и философские идеи и принципы, обосновывающие содержательные представления научной картины мира и обеспечивающие включение научного знания в культуру (о сложных взаимоотношениях языка и философии см. в: [10]).

Размышление о синкретизме в языкознании остановилось на простой констатации факта некоего соединения, объединения. Именно такое слишком широкое понимание синкретизма позволяет лингвистам применять его для характеристики языковых явлений, в отношении которых об объединении можно вести речь лишь в самом общем смысле этого слова. Между тем уже внутренней логикой проблемы синкретизма предполагается дальнейшее движение от вопроса о соединении, объединении к раскрытию сущности этого соединения, всех его оттенков и аспектов.

В основе предлагаемого в работе научно-лингвистического понимания синкретизма – идея об «универсальной целостности» мира [11, с. 342]. Своими историческими корнями учение о единстве мира, неразрывно связанное с мыслью о противоречивости, антиномичности последнего, уходит в далекое прошлое. Оно, по-видимому, восходит к Гераклиту, который «впервые ясно почувствовал, что существует Бог-Слово, – впервые открыл высшую гармонию и сверх-мирное единство бытия», вместе с тем «со всею возможною <...> остротой увидал внутреннюю вражду мира» [12, с. 154]. «Противодействие сближает», – говорил он. «Из противоположностей образуется совершенная гармония. Все возникает

благодаря вражде», а потому «соединяй целое и нецелое, согласное и несогласное, созвучное и несозвучное. Все дает одно, и одно дает все» [цит. по: 12, с. 155]. Вслед за именем Гераклита в истории интересующей П.А. Флоренского идеи антиномии, которой он посвящает специальный параграф в своей книге «Столп и утверждение истины», мыслитель ставит «славные имена элейцев», имена Платона, Николая Кузанского «с его учением о *coincidentia oppositorum*, т. е. о совпадении в Боге противоположных определений», Гегеля, Фихте, Шеллинга, Ренуве и др. [12, с. 156–157].

В силу того, что язык служит формой материализации духовного, заключает в себе, таким образом, духовное как содержание, духовному же как одной из основных сфер бытия внутренне присуще единство («Вне первичного факта оппозиции противоположностей и как следствия их синтетического примирения нет иного способа для становления мышления», – писал Эмелин [цит. по: 13, с. 324]), подход к языку как единству многообразного, как «совокупной (и расчлененной) целостности» [11, с. 343] обязательно должен был родиться в науке о языке. Именно в онтологическом (бытийном) единстве, как нам представляется, следует искать *источники лингвистического синкретизма*. Атрибуты «единства многообразного», «совокупная (и расчлененная) целостность» уже проливают некоторый свет на существо синкретизма в языке. Философское объяснение единства мира – следующий пункт на пути к выяснению сущности исследуемой лингвистической категории.

Идея единства «бесконечного разнообразия мира» привела специалистов к представлению об общей основе всего существующего. Для обозначения такой основы в философии была выработана категория «субстанции» [11, с. 364]. Все философские концепции, признающие важность онтологической проблематики и исследующие ее в опоре на естественные науки, рассматривают многообразие бытия с точки зрения его материального единства [11]. В таком случае мир, в котором мы живем, есть материальный мир. К всеобщим свойствам материи, обеспечивающим единство объектов мира, относятся структурность и движение [11, с. 364–365].

Говоря о строении материи, философия рассматривает любой объект материального мира «в качестве *системы*, то есть особой целостности, которая характеризуется наличием элементов и связей между ними» [11, с. 365]. Указывая далее на обязательное взаимодействие материальных систем с внешним окружением, исследователи отмечают, что некоторые свойства и связи элементов при этом меняются, но основные связи могут сохраняться, что обеспечивает существование системы как целого, а устойчивые связи и отношения между элементами системы образуют ее *структуру* [11, с. 366].

Под *движением* материи в философии понимается «не только механическое перемещение тел в пространстве, но и любые взаимодействия, а также изменения состояний объектов, которые вызываются этими взаимодействиями» [Там же, с. 373]. Выделяют два основных типа движения. Первый тип связан с сохранением качества предмета. Ко второму типу движения относят «процессы, связанные с преобразованием качества предметов, с появлением новых качественных состояний, которые как бы развертывают потенциальные возможности, скрытые и неразвернутые в предшествующих качественных состояниях» [11, с. 375] и характеризуют такие процессы как *развитие*.

Сознание человека как совокупность психических образов, которые по своему содержанию являются отражением свойств, связей и отношений внешнего мира, освоенных субъектом психики в процессе взаимодействия с миром, носит, таким образом, системный характер, обладает структурой, «благодаря которой всякое содержание тотчас же принимает свою специфическую форму и к которой в процессе взаимодействия присоединяются другие элементы содержания» [14, с. 423]. Приобретающий сравнительно определенную форму результат содержания сознания на-

зывается мыслью, или смыслом, идеей, концептом (Б. Рассел) [15, с. 527]. По причине того, что бытие духовного «изначально и непреложно включено в целостное бытие как таковое» [11, с. 363], сознание включено в «эволюцию бытия как целого» [11, с. 361].

Рассмотрим интересующие нас онтологические свойства мира и их гносеологические интерпретации более подробно.

Закономерная связь идей обозначается в науке термином «ассоциация». На основании мнения специалистов относительно ассоциативных процессов можно заключить, что ассоциации являются смыслообразующим фактором и имеют своим следствием *сопряженность концептов*. В случае «вторичного восприятия» посредством ассоциаций происходит объединение «образов первичного восприятия» с образами, идеями, составляющими «фоновые знания», и вместе с тем ассоциации приводят к тому, что в рамках самих «терминов внутреннего опыта» *совмещаются* содержательные элементы, представляющие, с одной стороны, передачу *первичной объективной* информации, а с другой стороны – интерпретацию *опосредованной* первичной *вторичной* информации, обуславливают *би- и поликонцептность* содержания сознания [15, с. 39–40].

В связи с вторичным восприятием уместно говорить о такой фундаментальной психологической закономерности, как апперцепция. Выдающийся языковед-мыслитель А.А. Потебня, уделивший большое внимание вопросу апперцепции, относящий к апперцепции случаи, когда «полученное уже впечатление подвергается новым изменениям, как бы вторично воспринимается» [16, с. 105], определяющий апперцепцию «более общим выражением» как «участие известных масс представлений в образовании новых мыслей» [16, с. 109], различает «две стихии апперцепции» [16, с. 106]. Первая из них – это воспринимаемое и объясняемое, а вторая есть совокупность мыслей и чувств, которой подчиняется первая и посредством которой она объясняется. Ученый подчеркивает, что результатом взаимодействия двух стихий апперцепции всегда является нечто новое, не сходное ни с одной из них [16, с. 110], и указывает, что в апперцепции «воспринимаемое вновь и объясняемое должно известным образом соприкасаться с объясняющим», что между двумя стихиями апперцепции имеются «общие черты», называемые им «средством апперцепции» [16, с. 121].

Здесь особое значение приобретает разрабатываемое А.А. Потебней понятие внутренней формы слова, поскольку именно внутренняя форма, по мысли исследователя, выступает в качестве «третьей общей между двумя сравниваемыми величинами» [16, с. 123]. В качестве примера апперцепции с «третьей стихией» А.А. Потебня приводит свои наблюдения относительно сравнения в выражении «не горит, а тлеет» жизни больного или несчастного человека с медленным и пассивным горением. Рядом с этим сравнением, замечает исследователь, можно поставить областное «модеть» (о дровах: тлеть, худо гореть; о человеке: хиреть, болеть). Слово «модеть» выражает общее между болезнью и огнем, является средством апперцепции. И это, убежден А.А. Потебня, лишь по той причине, что собственное содержание этого слова, его внутренняя форма, обнимает не все признаки горения, а только один из них, встречаемый и в болезни [16, с. 122–123].

В соответствии с теорией апперцепции первичная объективная информация есть апперципирующая, объясняющая, стихия, а вторичная информация представляет результат взаимодействия вышеназванной стихии и вновь воспринимаемого и объясняемого, т. е. апперципируемой стихии, являющий собой нечто новое, отличное от обеих стихий. Между этими отличающимися друг от друга стихиями, однако, есть нечто общее (иначе не было бы апперцепции), и это общее выражается словом, его внутренней формой, которая тем самым становится средством апперцепции. Внутренняя форма слова как «присущий языку прием, порядок выражения и обозначения с помощью слова нового содержания» [17,

с. 590], как преобладающий над всеми остальными признак образа воспроизводится при каждом новом восприятии, чем обеспечивает *внутреннее единство* образа, сообщая при этом знание о нем.

Подчиняясь «общему закону всякого развития» [18, с. 145], сознание, мышление человека проходят в своем развитии две стадии синкретизма. Первоначальный мыслительный синкретизм может быть назван *мифологическим* синкретизмом, по причине того что мифология, миф является средоточием данного вида синкретизма [11, с. 13–14]. В условиях синкретического мифологического мышления образующие содержание мира сознания идеи, концепты существуют лишь потенциально, находятся в безразличии, или смешении. С развитием научного осмысления действительности, строгой научной логики происходит обособление концептов. По закону развития, отмежевывавшиеся концепты для их полного развития должны отрицать друг друга. Ввиду того, что ни один из них не может получить исключительного господства, они вынуждены вступать во *внутреннее свободное единство*, восполняя друг друга в соответствии со своим назначением [18, с. 143]. Осуществление этого нового единства есть второй этап развития синкретизма в сознании человека.

Взаимодействие концептов в случае вторичного восприятия на новом этапе развития синкретизма создает качественно новые нерасчлененные, синкретические, явления, так называемые превращенные объекты [19, с. 270], характер которых определяется восполняющим и восполняемым, или – в соответствии с иной терминологией – апперципируемым и апперципирующим, концептами. Речь при этом идет об объединении образов первичного восприятия с образами, составляющими фоновые знания, и о сущностном, обусловленном присущим человеку стремлением «обнять многое одним нераздельным порывом мысли» совмещении в рамках «терминов внутреннего опыта» содержательных элементов, представляющих, с одной стороны, передачу первичной объективной информации, а с другой стороны – интерпретацию вторичной информации, опосредованной первичной информацией.

«Форма мысли в нормальных условиях есть ее языковое выражение» [14, с. 280]. Цитируя известного русского литературоведа, ученика и последователя А.А. Потебни Д.Н. Овсяннико-Куликовского, «слово есть сложный психический процесс, принадлежащий к тому отделу психики, который называется *мыслью*, и сводящийся к известным процессам *ассоциации* и *апперцепции*» [20, с. 69]. Обнаруживающаяся в рамках сознания би- и поликонцептность объективируется в языке как *парадигматическое совмещение двух и более сигнификативных функций одним языковым знаком*. Объединение в системе языка в общее целое сигнификативных функций языкового знака и составляет *сущность* лингвистического синкретизма. Синкретичность мышления вызывает синкретизм в языке.

Первоначальный мыслительный синкретизм приводит к *первоначальному, или первородному, синкретизму в языке*. В лингвистике этот факт весьма наглядно интерпретирован известным отечественным языковедом М.М. Маковским. «Образное мифопоэтическое», «допонятийное» мышление, пишет ученый, «располагает в ряд то, что в объективной действительности имеет иерархию, оно подменяет качественные отношения количественными, подходит к любому объекту с точки зрения его значимости для субъекта и обращает объект на субъект» [21, с. 14]. «Тем самым и знак, – полагает исследователь, – приобретает смысл только в процессе непосредственного оперирования с ним и тем самым не различает смысла и значения. Применительно к контексту знак может иметь и один, и другой, и третий смысл, каждый из которых может обращаться в его значение по мере приобретения данным контекстом характера образа, модели» [21].

Безразличие содержательных элементов сознания на ранних этапах развития человечества обуславливает сме-

шение содержательных элементов на ранних ступенях развития языка. «Если представить себе, – говорит В. фон Гумбольдт, – создание языка постепенным (а это естественнее всего), то нужно будет принять, что это создание, подобно всякому рождению <...> в природе, происходит по началу развития изнутри <...>. Чувство, проявлявшееся в звуке, заключает в себе все в зародыше, но не все в то же время видно в звуке» [цит. по: 16, с. 134]. Хорошо известно, например, что в древнегерманских языках время глагола было тесно связано с видовыми значениями [22, с. 247; 23, с. 40].

Следует согласиться с мнением А.А. Потебни об «отсутствии метафоры в мифе, так как о метафоричности мы вправе говорить лишь там, где она признается самим человеком» [24, с. 262] (ср. аналогичный взгляд на метафору, «предполагающую известную степень сознательности», выраженный известным русским литературоведом А.Н. Веселовским [25, с. 63]). «Появление <...> метафоры в смысле сознания разнородности образа и значения, – пишет ученый, – есть тем самым исчезновение мифа. Но о другой метафоричности при создании мифа в слове не может быть и речи. Для человека, для коего есть миф *туча-корова*, одновременное с этим название тучи коровою есть самое точное, какое только возможно» [24, с. 261].

«Объясняя мифы, – читаем далее, – мы вовсе не переводим *метафорического* и первобытного языка на *простой и современный*. Если бы мы делали это, то наше толкование было бы умышленным искажением, анахронизмом. Мы только подыскиваем подлежащие, не выраженные словом, к данным в мифе сказуемым и говорим, что предметом такого-то мифического объяснения (-корова) было восприятие тучи» [24, с. 262].

А.А. Потебня подчеркивает: «Метафоричность выражения, понимаемая в тесном смысле, начинается одновременно со способностью человека сознать, удерживать различие между субъективным началом познающей мысли и тем ее течением, которое мы называем (неточно) действительностью, миром, объектом. И мы, как и древний человек, можем назвать мелкие белые тучи *барашками*, другого рода облака *тканью*, душу и жизнь – *паром*; но для нас это только сравнения, а для человека в мифическом периоде сознания – это полные истины до тех пор, пока между сравниваемыми предметами он признает только несущественные различия, пока, например, тучи он считает хотя и небесными, божественными, светлыми, но все же барашками; пока *пар* в смысле жизни есть все-таки, несмотря на различие функций, тот же пар, в который превращается вода» [24].

Когда в древневерхненемецком языке для обозначения будущего времени использовался презенс [22, с. 293; 23, с. 113], речь шла не о сознательном поиске и обнаружении аналогии между восприятиями настоящего и будущего времени, а именно о нерасчлененности в восприятии временных предметов, о выражении «настоящего-будущего» [22, с. 293], ср. из древневерхненемецкого текста «Муспилли»: *tano vallit, prinnit mittilagart* («*месяц упадет, сгорит срединная земля*») [22].

Грамматическая функция морфемы «презенс» в современном немецком языке заключается в выражении качества «настоящее относительно актуального момента». Но хорошо известно также употребление презенса и в сфере прошлого и будущего, который в этом случае функционирует на временном уровне претеритальных и футуральных временных форм соответственно.

Простого дублирования одной и той же функции двумя различными формами при этом, однако, не происходит. Различные грамматические формы служат для обозначения различных форм «переживаний времени», в которых «полагаются „объективно темпоральные“ данные» [26, с. 12]. Прошрое, к примеру, всегда относится к сфере нашего воспоминания, но воспоминание может осуществляться в разных формах. При помощи претерита мы можем обозначить лишь так называемое воспоминание «в простом подхватывании

(Zugreifen), когда воспоминание „всплывает“, и мы направляем на вспомненное некоторый луч взгляда, при этом вспомненное смутно <...> и не есть повторяющее воспоминание» [26, с. 40]. Благодаря ассоциациям как закономерной связи идей и апперцепционным процессам мы также можем осуществлять и «действительно воспроизводящее (nacherzeugende), повторяющее воспоминание, в котором временной предмет снова полностью выстраивается в континууме воспроизведений (Vergegenwärtigungen), мы его как бы снова воспринимаем» [26].

Выражение такого «прошедшего, но как будто настоящего» находится вне компетенции претерита. Презенс же вследствие своей внутренней формы, которая может быть обозначена как «воспринимаемое», способен обозначить действительно вос-производящее, повторяющее воспоминание, ср.: *Auf dieser Balustrade also setzt Charlotte Menzel in einer warmen Juninacht des Jahres 1925 ihren, gelinde gesagt, angetölpelten Tischherrn ab...* (Wolf Ch. «Kindheitsmuster»).

Функция по выражению прошлого в форме презенса представлена одним признаком, взятым из грамматической функции морфемы «презенс». Этот признак, связующий обе вышеназванные функции, и есть внутренняя форма презенса [ср.: 27, с. 212].

В этом случае соответствующее событие / бытие «псевдоактуализируется», осуществляется его «образное» – но не действительное! – восприятие. *Внутреннее свободное единство* концептов «настоящее относительно актуального момента» и «прошедшее относительно актуального момента» реализуется как превращенное образование, концепт «псевдоактуализированное прошлое», которому свойственна синкретичность, нерасчлененность (ср.: «прошлое» + «псевдоактуализация»), простирающаяся из синкретичности отражения нами объективной реальности.

Упорядоченность и последовательность элементов нового отношения, как можно наблюдать, отличается от упорядоченности и последовательности действительного отношения (ср.: восполнение концепта «настоящее» со стороны концепта «прошедшее» в случае с действительным отношением и «псевдоактуализация прошлого», т. е. модификация «прошедшего» под влиянием «настоящего», апперцепирование «прошедшего» со стороны «настоящего» в случае с возникшим квазипредметом как результатом взаимодействия двух «стихий» апперцепции).

При вос-производящем воспоминании происходит «выход за пределы наличной информации и ее интерпретация в терминах внутреннего опыта». Функция презенса по выражению настоящего относительно актуального момента события / бытия воплощает первичную объективную информацию. Функция же выражения презенсом прошлого (равно как и будущего) обнаруживает интерпретацию вторич-

ной информации, опосредованной первичной информацией, концептуальный троп, и выступает в качестве языкового тропа, коннотации.

Превращенные образования как качественно цельные явления сливаются со свойствами их материального носителя (в нашем случае – со свойствами презенса). В результате восполнения концепта «настоящее относительно актуального момента» со стороны концептов «прошедшее относительно момента актуального» и «футуральность, будущность» происходит нейтрализация различных темпоральных дифференциальных признаков в рамках одной единой грамматической категориальной формы презенса. Нейтрализация же на уровне временной формы приводит, в свою очередь, к объединению в системе языка в общее нерасчлененное целое сигнификативных функций данной временной формы, т. е. к ее парадигматическому синкретизму. Синкретизм презенса в современном немецком языке, воплощающий результат действия ассоциаций по сходству и апперцепционного механизма, представляет собой *второй этап развития языкового синкретизма*.

Лингвистический синкретизм, таким образом, существует объективно как воплощение *онтологического* синкретизма, синкретичности мышления – совместной реализации концептов как итога закономерной деятельности ассоциативно-апперцептивного мышления. Подобно тому как природа и общество, человек и все созданное им, включая его мысли и идеи, наличествуют не только в их различиях, но и в рамках совокупного существования мира, так и язык как форма воплощения бытия идеального пребывает в различии и единстве его основных целостностей. Как присутствие всего, что есть, было и будет в мире, есть выражение универсальной целостности мира, так и различные сигнификативные функции языкового знака – это проявление его неразрывного единства. В основе понимания синкретизма как противоречивого, но в то же время сущностного единства языкового знака и его различных сигнификативных функций – общелингвистические идеи о языке как организме, системе и структуре и о языковом развитии.

Становление предлагаемого понимания синкретизма как нового направления исследований в современном языкознании только начинается. Плодотворность лингвистического синкретизма в научном изучении грамматической категории времени в немецком языке [см. об этом также в: 28] позволяет, однако, уже сегодня заявить его в качестве результативного метода исследования такого типа отношения формы и содержания, где одному элементу плана выражения на парадигматическом уровне соответствуют два и более элемента в плане содержания. В силу же эффективности лингвистического синкретизма в переводе [см.: 29] правомерно также говорить и о его прикладном значении.

#### Библиографический список

1. Grammatik der deutschen Sprache / hrsg. von G. Zifonun, L. Hoffmann, B. Strecker: in 3 Bänden. – Berlin; New York, 1997. – Bd. 3.
2. Eisenberg, P. Grundriss der deutschen Grammatik: in 2 Bänden / P. Eisenberg. – Stuttgart; Weimar, 2006. – Bd. 1.
3. Ельмслев, Л. Прологомены к теории языка: пер. с англ. Ю.К. Лекомцева // Новое в лингвистике: сб. статей / сост. В.А. Звегинцев. – М., 1960. – Вып. 1.
4. Бабайцева, В.В. Синкретизм // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1990.
5. Друговейко, С.В. Синкретизм языкового знака в поэзии постмодернизма // Вестник С.-Петербурга. ун-та. – СПб., 2000. – Вып. 2. – № 10.
6. Бузаров, В.В. Синкретизм как разноуровневое средство реализации языковой экономии // Лингвистические категории в синхронии и диахронии: сб. науч. трудов. – Пятигорск, 1996.
7. Еремин, А.Н. Переходность и синкретизм в лексической семантике просторечного слова // Языковая деятельность: переходность и синкретизм: сб. ст. науч.-метод. семинара «TEXTUS» / под ред. К.Э. Штайн. – М.; Ставрополь, 2001. – Вып. 7.
8. Богданов, С.И. Переходность в системе частей речи. Субстантивация: учеб. пособие / С.И. Богданов, Ю.Б. Смирнов. – СПб., 2004.
9. Демидова, К.И. Синкретичные явления в лексике современного русского языка // Языковая деятельность: переходность и синкретизм: сб. ст. науч.-метод. семинара «TEXTUS» / под ред. К.Э. Штайн. – М.; Ставрополь, 2001. – Вып. 7.
10. Береснева, В.А. Гносеологические корреляции термина «синкретизм» в философии и лингвистике // Славянское терминоведение: теоретический журнал по проблемам терминоведения и терминологистики. – М., 2009. – № 1.
11. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / И.Т. Фролов [и др.]. – М., 2002.
12. Флоренский, П.А. Столп и утверждение истины: опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. – М., 1914.
13. Кобляков, А.А. Синергетика, язык, творчество // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. – М., 2002.
14. Философский энциклопедический словарь. – М., 1997.
15. Словарь философских терминов / науч. ред. проф. В.Г. Кузнецов. – М., 2007.
16. Потебня, А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Слово и миф / сост., подг. текста и прим. А.Л. Топоркова; отв. ред. А.К. Байбури. – М., 1989.
17. Топорков, А.Л. Примечания // Потебня А.А. Слово и миф / отв. ред. А.К. Байбури. – М., 1989.

18. Соловьев, В.С. Философские начала цельного знания // Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. / общ. ред. и сост. А.В. Гулыги, А.Ф. Лосева. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2.
19. Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию / сост. и общ. ред. Ю.П. Сенокосова. – М., 1992.
20. Овсянко-Куликовский, Д.Н. О значении научного языкознания для психологии мысли // Овсянко-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: в 2 т. / сост., подг. текста, прим. И. Михайловой; вступ. ст. Ю. Манна. – М., 1989. – Т. 1.
21. Маковский, М.М. Язык – Миф – Культура. Символы жизни и жизнь символов. – М., 1996.
22. Жирмунский, В.М. История немецкого языка. – М., 1965.
23. Москальская, О.И. История немецкого языка. – М., 1977.
24. Потебня, А.А. Из записок по теории словесности. Фрагменты // Потебня А.А. Слово и миф / сост., подг. текста и прим. А.Л. Топоркова; отв. ред. А.К. Байбурин; предисл. А.К. Байбурина. – М., 1989.
25. Веселовский, А.Н. Из истории эпитета // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989.
26. Гуссерль, Э. Собрание сочинений. Феноменология внутреннего сознания времени: пер. с нем. / Э. Гуссерль / сост., вступ. ст., пер. В.И. Молчанова. – М., 1994. – Т. 1.
27. Потебня, А.А. Психология поэтического и прозаического мышления // Потебня А.А. Слово и миф / сост., подг. текста и прим. А.Л. Топоркова; отв. ред. А.К. Байбурин; предисл. А.К. Байбурина. – М., 1989.
28. Береснева, В.А. Синкретизм временных форм современного немецкого языка. – Киров, 2008.
29. Береснева, В.А. К вопросу о переводе синкретичных языковых форм // Вестник Московского университета: науч. журнал. – М. – 2010. – № 4. – Сер. 22.

## Bibliography

1. Grammatik der deutschen Sprache / hrsg. von G. Zifonun, L. Hoffmann, B. Strecker: in 3 Banden. – Berlin; New York, 1997. – Bd. 3.
2. Eisenberg, P. Grundriss der deutschen Grammatik: in 2 Banden / P. Eisenberg. – Stuttgart; Weimar, 2006. – Bd. 1.
3. Eljmslev, L. Prolegomeni k teorii yazihka: per. s angl. Yu.K. Lekomceva // Novoe v lingvistike: sb. statej / sost. V.A. Zvegincev. – М., 1960. – Виһ. 1.
4. Babajceva, V.V. Sinkretizm // Lingvisticheskiy ehnciklopedicheskiy slovarj / gl. red. V.N. Yarceva. – М., 1990.
5. Drugovejko, S.V. Sinkretizm yazihkovogo znaka v poezii postmodernizma // Vestnik S.-Peterb. un-ta.– SPb., 2000. – Виһ. 2. – № 10.
6. Buzarov, V.V. Sinkretizm kak raznouronnoe sredstvo realizacii yazihkovoy ehkonomii // Lingvisticheskie kategorii v sinkhronii i diakhronii: mezhvuz. sb. nauch. trudov. – Pyatigorsk, 1996.
7. Eremin, A.N. Perekhodnostj i sinkretizm v leksicheskoj semantike prostorechnogo slova // Yazihkovaya deyatel'nostj: perekhodnostj i sinkretizm: sb. st. nauch.-metod. seminar «TEXTUS» / pod red. K.Eh. Shtayjn. – М.; Stavropolj, 2001. – Виһ. 7.
8. Bogdanov, S.I. Perekhodnostj v sisteme chastej rechi. Substantivaciya: ucheb. posobie / S.I. Bogdanov, Yu.B. Smirnov. – SPb., 2004.
9. Demidova, K.I. Sinkretichniye yavleniya v leksike sovremennoy russkoj yazihka // Yazihkovaya deyatel'nostj: perekhodnostj i sinkretizm: sb. st. nauch.-metod. seminar «TEXTUS» / pod red. K.Eh. Shtayjn. – М.; Stavropolj, 2001. – Виһ. 7.
10. Beresneva, V.A. Gnoseologicheskie korrelyacii termina «sinkretizm» v filosofii i lingvistike // Slavyanskoe terminovedenie: teoreticheskiy zhurnal po problemam terminovedeniya i terminologiki. – М., 2009. – № 1.
11. Vvedenie v filosofiyu: ucheb. posobie dlya vuzov / I.T. Frolov [i dr.]. – М., 2002.
12. Florenskij, P.A. Stolp i utverzhenie istin: opit pravoslavnoj teodicej v dvenadci pis'makh. – М., 1914.
13. Koblyakov, A.A. Sinergetika, yazihk, tvorcestvo // Sinergeticheskaya paradigma. Nelineynoe mihshlenie v nauche i iskusstve. – М., 2002.
14. Filosofskij ehnciklopedicheskiy slovarj. – М., 1997.
15. Slovarj filosofskih terminov / nauch. red. prof. V.G. Kuznecov. – М., 2007.
16. Potebnya, A.A. Mihslj i yazihk // Potebnya A.A. Slovo i mif / sost., podg. teksta i prim. A.L. Toporkova; отв. ред. А.К. Байбурин. – М., 1989.
17. Toporkov, A.L. Primechaniya // Potebnya A.A. Slovo i mif / отв. ред. А.К. Байбурин. – М., 1989.
18. Solovjev, V.S. Filosofskie nachala celjnogo znaniya // Solovjev V.S. Soch.: v 2 t. / obth. red. i sost. A.V. Gulihgi, A.F. Loseva. – М.: Mihslj, 1990. – Т. 2.
19. Mamardashvili, M.K. Kak ya ponimayu filosofiyu / sost. i obth. red. Yu.P. Senokosova. – М., 1992.
20. Ovsyaniko-Kulikovskij, D.N. O znachenii nauchnogo yazihkoznanija dlya psikhologii mihslj // Ovsyaniko-Kulikovskij D.N. Literaturno-kriticheskie raboti: v 2 t. / sost., podg. teksta, prim. I. Mikhajlovoy; vstup. st. Yu. Manna. – М., 1989. – Т. 1.
21. Makovskij, M.M. Yazihk – Mif – Kuljtura. Simvolih zhizni i zhiznj simvolov. – М., 1996.
22. Zhirmunskij, V.M. Istoriya nemeckogo yazihka. – М., 1965.
23. Moskal'skaya, O.I. Istoriya nemeckogo yazihka. – М., 1977.
24. Potebnya, A.A. Iz zapisok po teorii slovesnosti. Fragmentih // Potebnya A.A. Slovo i mif / sost., podg. teksta i prim. A.L. Toporkova; отв. ред. А.К. Байбурин; предисл. А.К. Байбурина. – М., 1989.
25. Veselovskij, A.N. Iz istorii ehpiteta // Veselovskij A.N. Istoricheskaya poehtika. – М., 1989.
26. Gusserlj, Eh. Sbranie sochinenij. Fenomenologiya vnutrennego soznaniya vremeni: per. s nem. / Eh. Gusserlj / sost., vstup. st., per. V.I. Molchanova. – М., 1994. – Т. 1.
27. Potebnya, A.A. Psikhologiya poehticheskogo i prozaicheskogo mihshleniya // Potebnya A.A. Slovo i mif / sost., podg. teksta i prim. A.L. Toporkova; отв. ред. А.К. Байбурин; предисл. А.К. Байбурина. – М., 1989.
28. Beresneva, V.A. Sinkretizm vremennihkh form sovremennoy nemeckoj yazihka. – Киров, 2008.
29. Beresneva, V.A. K voprosu o perevode sinkretichnihkh yazihkovihkh form // Vestnik Moskovskogo universiteta: nauch. zhurnal. – М. – 2010. – № 4. – Сер. 22.

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 49 + 493.3 – 25

*Darzhay A.V.* **ANALYTICAL VERB OF THE TUVINIAN LANGUAGE, FORMED ON MODELS N+V** <sup>кыл= 'do'</sup>. The Article is dedicated to analytical verb of the tuvinian language, formed on models N+V <sup>кыл= 'do'</sup>. Whole us is revealed 79 units which name the analytical verb, built by syntax way on models N + V <sup>сop. кыл= 'do'</sup>.

**Key words:** analytical verb, model, the first component, the second component, auxiliary verb.

*А.В. Даржай, аспирант ТуВГУ, г. Кызыл, Email: aldynai\_d@mail.ru*

## АНАЛИТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПО МОДЕЛИ N + V <sup>кыл= 'ДЕЛАТЬ'</sup>

Статья посвящена аналитическим глаголам тувинского языка, образованным по модели N+V <sup>кыл= 'делать'</sup>. Выявленная нами модель является самой частотной по употреблению среди аналитических глаголов в тувинском языке, образованных по модели N+V <sup>аух</sup>. Всего нами выявлено 79 единиц, образованных по модели N+V <sup>кыл= 'делать'</sup>. В предложении они выполняют разные синтаксические функции.

**Ключевые слова:** аналитический глагол, модель, первый компонент, второй компонент, вспомогательный глагол.

Под аналитическими глаголами мы понимаем объединение двух компонентов, образованные сочетанием имени существительного, звуко-и образоподражательных слов со вспомогательными глаголами, передающие значение действия и состояния. В аналитических глаголах, образованных по модели  $N+V^{AUX}$ , основное лексическое значение заключается в первом компоненте, второй компонент – вспомогательный глагол – вводит в глагольную парадигму именной компонент, вербализуя его. Следовательно, грамматическое значение вспомогательных глаголов равнозначно функции глаголообразующих аффиксов.

Материалы проведенного исследования показали, что тувинский язык обладает значительной спецификой, что достаточно неожиданно. При сравнении тувинского языка с другими языками огузского типа оказалось, что в нем аналитических глаголов, вопреки ожиданию, оказалось немного. В тюркских языках аналитические глаголы образуются по двум основным моделям  $N+V^{эрг}$ ,  $кыл=$  'делать' и  $N+V^{бол}$ ,  $ол=$  'быть'. В тувинском языке для каждого вспомогательного глагола действует индивидуальная модель. Всего выявлено 14 моделей аналитических глаголов:  $N+V^{кыл=}$  'делать' (79 единиц),  $N+V^{бер=}$  'даты' (16 единиц),  $N+V^{бол=}$  'быть' (9 единиц),  $N+V^{сал=}$  'класть' (9),  $N+V^{н=}$  'выходить' (8),  $N+V^{ал=}$  'взять' (5),  $N+V^{кир=}$  'вносить' (4),  $N+V^{тырт=}$  'тянуть' (3),  $N+V^{чет=}$  'достичь' (2),  $N+V^{кыр=}$  'видеть' (2),  $N+V^{апар=}$  'становиться' (2),  $N+V^{тут=}$  'держаться' (1),  $N+V^{дш=}$  'спускаться' (1),  $N+V^{эрт=}$  'пройти' (1). Из них самой частотной по употреблению является модель  $N+V^{кыл=}$  'делать'. По этой модели нами выявлено 79 единиц.

Исследуя исторический процесс обособления глагола от имени, глагольного сказуемого от именного сказуемого на материале типологически различных языков (индоевропейских, яфетических, палеазиатских, тюркских и др.) академик И.И. Мещанинов справедливо отмечает, что вспомогательный глагол выступает в различных смысловых значениях и в разнообразных смысловых сочетаниях с именными и глагольными формами [1, с. 178].

В данной статье нами будут рассмотрены аналитические глаголы, построенные по модели  $N+V^{кыл=}$  'делать', поскольку, как мы отметили выше, данная модель является самой продуктивной среди аналитических глаголов. По сравнению с другими вспомогательными глаголами в тувинском языке вспомогательный глагол  $кыл=$ , вступая в сочетание с именами существительными, звуко-и образоподражательными словами, принимает активное участие в образовании аналитических глаголов.

В тувинском языке глагол  $кыл=$  'делать' употребляется как полнозначное слово со значением 'делать', и в то же время как вспомогательный компонент в аналитических глаголах, построенных по модели  $N+V^{кыл=}$ , приобретая словообразовательное значение. «Вспомогательными глаголами называются такие глаголы, которые в одних случаях сохраняют свое основное лексическое значение, а в других теряют его и выражают лишь грамматические, а также дополнительные лексические значения другого (основного) глагол» [2, с. 411]. Как показало исследование, в состав первого компонента аналитических глаголов тувинского языка, образованных по модели  $N+V^{кыл=}$  входят абстрактные и конкретные имена существительные. Но чаще вспомогательный глагол  $кыл=$  сочетается с абстрактными понятиями.

Итак, в качестве первого компонента аналитического глагола, образованного по модели  $N+V^{кыл=}$  выступают следующие имена существительные:

1. Абстрактные имена существительные, обозначающие отвлеченные понятия: *байысаалга* 'допрос', *тайылбыр* 'объяснение', *оор* 'воровство', *дыңнадыг* 'сообщение', *илет-кел* 'сообщение', 'доклад', *ажыл* 'работа', *садыг* 'торговля', *хүлээзин* 'тревога', *кочу* 'насмешка', 'презрение', *бүрүткел* 'регистрация', *бадылаашкын* 'голосование', *алдаг* 'ошибка', *эндег* 'ошибка (гибельная)', *тңнел* 'вывод', *казыг* 'ошибка',

*моондак* 'препятствие', *удурланышкын* 'сопротивление', *деткимче* 'поддержка', *истелге* 'расследование'.

2. Абстрактные имена существительные мысли и речи: *бодал* 'мысль', *чугаа* 'разговор'.

3. Конкретные имена существительные, обозначающие названия лиц по родственным отношениям и виду занятости или деятельности: *чиш* 'скот, предназначенный на убой (для запасов на зиму)', *күдээ* 'зять', *кадай* 'жена', *хөдел* 'слуга'.

Кроме перечисленных выше имен существительных вспомогательный глагол  $кыл=$  сочетается звуко-и образоподражательными словами, значение которых основано на подражании звуков, видов и образов: *караш* 'мелькание темного предмета', *пет* 'шлепанье', *дарс* 'издание треска', *чивеш* 'мелькание, мерцание', *шокараш* 'мелькание пестрого предмета', *шимирт* 'ёкнуть', *серт* 'вздрыгнуть, встрепенуться', *каңгырт* 'звенеть', *ток* 'стучать', *диг* 'греметь', *карбааш* 'взмахнуть', *уяраш* 'унывать', *караңгылаш* 'потемнеть', *сыйт* 'свистнуть', *чык* 'грязнуть', *намдаш* 'утихать', *чавырлыш* 'затихать', *амыраш* 'радоваться', *кылаш* 'блестеть'.

В каракалпакском языке, по мнению Н.А. Баскакова, для передачи значения «превратив кого-либо во что-либо или в кого-либо» употребляется только глагол  $кылув$ : *тютө кылув* – превращать в верблюда, *хайал кылув* – сделать женой. Употребление этого глагола в других значениях рассматривается как особенность юго-западного диалекта, где он используется в некоторой степени факультативно [3, с. 329].

В турецком языке глагольным компонентом аналитических глаголов выступают глаголы *etmek*, *yapmak*. Глагол *kilmak* в функции вспомогательного глагола постепенно исчезает из литературного языка и становится малоупотребительным. В современном турецком языке он встречается чрезвычайно редко в диалектах, а также в канцелярском языке, в документах, в отдельных выражениях. Он не принимает активного участия в образовании аналитических глаголов, поэтому едва ли его можно рассматривать наряду с глаголом *etmek* и считать равноправным его синонимом. Для современного языка он является архаичным вспомогательным глаголом и самостоятельно не употребляется [4, с. 109].

Исходя из изложенного выше, можно сказать, что в тувинском языке в значении 'делать', 'сделать', 'налаживать', 'исправлять', 'совершать что-либо' употребляется только вспомогательный глагол  $кыл=$ .

Профессор Д.М. Насилов отмечает, что в турецком языке «сложные (составные) аналитические глаголы представлены поровну с синтетическими глаголами» [5, с. 262]. Мы разделяем точку зрения профессора Д.М. Насилова, так как в тувинском языке аналитические глаголы, построенные по модели  $N+V^{кыл=}$  'делать' имеют также простые синтетические параллели глаголов, которые образованы от основы того же имени путем прибавления к ним словообразовательных аффиксов  $=ла/=ле$ ,  $=лан$  и формообразовательного аффикса  $=и$ . Например: *тайылбыр кылыр* – *тайылбырлаар* 'объяснить' (от *тайылбыр* 'объяснение'), *оор кылыр* – *оорлаар* 'воровать', *доклад кылыр* – *докладтаар* 'докладывать' (от доклад), *садыг кылыр* – *садыглаар* 'торговать' (от садыг 'торговля'), *моондак кылыр* – *моондактаар* 'препятствовать' (от *моондак* 'препятствие'), *ажыл кылыр* – *ажылдаар* 'работать' (от *ажыл* 'работа'), *чугаа кылыр* – *чугаалажыр* 'разговаривать' (от *чугаа* 'разговор').

В современном тувинском языке, как и в других тюркских языках, имеется небольшое количество аналитических глаголов, построенных по модели  $N+V^{кыл=}$ , в качестве первого компонента которых выступают имена существительные, заимствованные из русского языка. Они также могут иметь простые синтетические параллели глаголов, образованных при помощи глаголообразующего аффикса  $=ла$ . Например: *агитация кылыр* – *агитация=ла=ар* 'агитировать' (от *агитация*), *доклад кылыр* – *доклад=та=ар* 'докладывать' (от

доклад), дезинфекция кылыр – дезинфекция=ла=ар ‘дезинфицировать’ (от дезинфекция), классификация кылыр – классификация=ла=ар ‘классифицировать’ (от классификация), комментарий кылыр – комментарий=лэ=эр ‘комментировать’ (от комментарий), конспект кылыр – конспект=лэ=эр ‘конспектировать’ (от конспект), перевод кылыр – перевод=та=ар ‘переводить’ (от перевод), регистрация кылыр – регистрация=ла=ар ‘регистрировать’ (от регистрация), ревизия кылыр – ревизия=ла=ар ‘ревизовать’ (от ревизия).

Изучая материалы других тюркских языков, можно заметить, что в тюркских языках в качестве первого компонента аналитических глаголов выступает глагол в неопределенной форме, а в тувинском же языке в качестве первого именного компонента аналитических глаголов выступает заимствованное имя существительное. Например: *переводить ет* ‘переводить’ (алт.), *бронировать итеу* ‘бронировать’ (башк.), *звонить килмак* ‘звонить, позвонить’ (уйг.), *диктовать кылуу* ‘диктовать’ (кирг.). Для этих тюркских языков сочетание инфинитива русского глагола со вспомогательным глаголом *кыл=, ет=* ‘делать, сделать’ стало литературной нормой, глагол русского языка в неопределенной форме воспринимается как имя существительное.

В отношении уйгурского языка Кибиров Ш. отмечает, что «в разговорной речи часто выступают формы инфинитива русского глагола на =ить, особенно, на =овать» [6, с. 151]. Например: *звонить килмак* ‘звонить, позвонить’, *редактировать этмек* ‘редактировать’, *мобилизовать килмак* ‘мобилизовать’, *регистрировать килмак* ‘регистрировать’.

Синтаксические функции аналитического глагола, образованного по модели N+V<sup>кыл=</sup> ‘делать, сделать’ в предложении не одинаковы. Аналитический глагол может функционировать в функции определения, функции инфинитивного сказуемого и в функции (конечного) (финитного) сказуемого. Например: *Садыг кылган кижы азы байыыр, азы ядараар* [7, с. 53]. –

Торговавший (человек) или разбогатеет, или разорется. *Уптээшкин кылган улус тып чадап, душкан-на аныяк улусту суп турар улус эвесле* [8, с. 29] – Не могут найти людей, совершивших грабеж, поэтому задерживают всех, кто встречается на их пути. Аналитические глаголы *садыг кылган* (от *садыг* ‘торговля’), *Уптээшкин кылган* (от ‘грабеж’) выступают в приведенных предложениях в функции определения. *Оон кедерезе чамдыктары ажыл кылбас, удуп чыда хүнзээр* [7, с. 78]. – Если захотят, некоторые могут не работать, спят целый день. В этом предложении аналитический глагол *ажыл кылбас* (от *ажыл* ‘работа’) выступает в функции инфинитивного сказуемого. *Кижы деп адың сыктың халак, частырыг кылдың* [9, с. 29]. – Не теряй свое достоинство, не ошибись. В предложении аналитический глагол *частырыг кылдың* (от *частырыг* ‘ошибка’) выступает в функции финитного сказуемого.

Обобщая результаты проделанного анализа, можно сделать следующий вывод, что аналитический глагол в тувинском языке, образованный по модели N+V<sup>кыл=</sup> ‘делать, сделать’ всегда функционирует в речи как одно неделимое слово. Грамматическое и синтаксическое использование равнозначно грамматическому и синтаксическому использованию простого глагола: аналитический глагол свободно варьируется по всем временам, лицам, наклонениям, но не имеет видовых форм.

Таким образом, аналитические глаголы в современном тувинском языке, образованные по модели N+V<sup>кыл=</sup> ‘делать, сделать’ представляют собой особый случай образования аналитических глаголов с переходным значением, лексическое значение которых заключено в именном компоненте. Принципы, лежащие в основе образования аналитических глаголов, образованных по модели N+V<sup>кыл=</sup> и аффиксального глаголообразования, одни и те же. Разница лишь в том, что в одном случае они реализуются аналитическим, в другом синтетическим способом.

#### Библиографический список

1. Мещанинов, И.И. Глагол. – М; Л., 1949.
2. Исхаков Ф.Г. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология / Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. – М., 1961.
3. Баскаков, Н.А. Составные глаголы в каракалпакском языке // Каракалпакский язык. – М. – 1952. – Т. 2.
4. Исенгалиева, В.И. Тюркские глаголы с основами, заимствованными из русского языка. – Алма – Ата, 1966.
5. Насилов, В.М. Язык орхон-енисейских памятников. – М., 1960.
6. Кибиров, Ш. Об отыменных сложных основах глагола в современном уйгурском языке. – Алма-Ата, 1959. – Т. 1.
7. Кудажы, К.К. Уйгу чок Улуг-Хем. – Кызыл, 1996.
8. Кыргыс, Б. Үлгедигниң ялазы. – Кызыл, 1996.
9. Куулар, Н.Ш. Мээң таныжым – тайга ээзи дагына. – Кызыл, 2008

#### Bibliography

1. Methaninov, I.I. Glagol. – M; L., 1949.
2. Iskhakov F.G. Grammatika tuvinskogo yazhka. Fonetika i morfologiya / F.G. Iskhakov, A.A. Paljmbakh. – M., 1961.
3. Baskakov, N.A. Sostavnihe glagolih v karakalpakskom yazhke // Karakalpakskiy yazhik. – M. – 1952. – Т. 2.
4. Isengalieva, V.I. Tyurkskie glagolih s osnovami, zaимstvovannimi iz russkogo yazhka. – Alma – Ata, 1966.
5. Nasilov, V.M. Yazhik orkhono-eniseyskikh pamyatnikov. – M., 1960.
6. Kibirov, Sh. Ob otihmennihkh slozhnihkh osnovakh glagola v sovremennom uyjgurskom yazhke. – Alma-Ata, 1959. – Т. 1.
7. Kudazhih, K.K. Uygu chok Ulug-Khem. – Kihzihl, 1996.
8. Kihrgihs, B. Ylgedignih yazhik. – Kihzihl, 1996.
9. Kuular, N.Sh. Meheh tanihzhim – tayga ehehzi da'gihna. – Kihzihl, 2008

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 82.091

**Mongush E.D. GENDER PERSPECTIVES AND ARTISTIC REALIZATION IN SMALL PROSE L. PETRUSH-EVSKAYA.** The feature of gender and its artistic realization is considered in small prose L. Petrushevskaya. The boundaries of the distribution of gender concepts in modern fiction are defined in the article, revealing the dramatic relations of women and men.

**Key words:** gender, aspect, society, social sex, type of annihilation, transgrediense, prose and image.

**Е.Д. Монгуш,** соискатель сектора литературы Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, зам. директора по инновационной деятельности Тувинского института гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва, E-mail: mongun2005@yandex.ru

## ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В МАЛОЙ ПРОЗЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ

В статье рассматривается особенность гендерной проблематики и её художественная реализация в малой прозе Л. Петрушевской. Определены границы распространения гендерных концепций на современную прозу, раскрывающей драматизм отношений женщины и мужчины.

**Ключевые слова:** гендер, аспект, социум, социальный пол, аннигиляционный тип, трансгрессиентность, проза, образ.

Понятие «гендер» впервые использовано в 50-е годы XX века для описания социально определенных характеристик мужчин и женщин в отличие от биологически определенных характеристик, называемых «пол». В своей статье «Гендерный подход в исторических исследованиях» Н.Л. Пушкарева пишет: «В 1958 психоаналитик университета Калифорнии (Лос-Анджелес, США) Роберт Столлер ввёл в науку термин «гендер», под которым понимал социальные проявления принадлежности к полу или «социальный пол». В 1963, выступая на конгрессе психоаналитиков в Стокгольме, он говорил о понятии социополового (то есть гендерного) самосознания. Его концепция строилась на разделении «биологического» и «культурного». Изучение пола (англ. - sex) Р. Столлер считал задачами биологии и физиологии, а анализ гендера (англ. - gender) рассматривал как предметную область исследований психологов, социологов, культурологов. «Предложение Р. Столлера о разведении биологической и культурной составляющих в изучении вопросов, связанных с полом, и дало толчок формированию особого направления в современном гуманитарном знании – гендерным исследованиям» [1].

В России на рубеже XX – XXI вв. широкое распространение гендерных концепций оказало своё влияние и на литературоведение. Так, один из номеров журнала «Филологические науки» (2000, № 3) был полностью посвящён гендерной проблематике. Марья Рюткенен (Финляндия) в статье «Гендер и литература: проблема «женского письма» и «женского чтения», рассмотрев проблематику «женского письма», поставила вопрос о возможности изучения гендера в художественном тексте. Той же проблеме посвящены опубликованные там же статьи М. Абашевой, Е. Трофимовой, Г. Брандт, Э. Шорэ.

Фактически под гендерными литературоведческими исследованиями понимается изучение женского творчества, произведений женщин-писательниц, особенно, женщинами-литературоведами, а также «изучение женских образов в женской литературе» [1]. Это не совсем так. К гендерным относятся как «женские», так и «мужские» исследования, как в плане проблематики, так и плане авторства художественных исследований.

Т. Ровенская, исследовательница гендерного аспекта в женской прозе, утверждает, что женщина в доминирующих случаях становится темой или объектом любых дискурсов: романтических, реалистических, постмодернистских и т.д. [2]. В диссертационном исследовании Г.А. Пушкарь «Типология и поэтика женской прозы: гендерный аспект (на материале рассказов Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой)» (Ставрополь 2007) определены три типа русской женской прозы. Андрогинная женская проза, которая, оставаясь женской, несёт в себе маскулинный взгляд на мир, тип аннигиляционный, когда оба начала взаимоуничтожаются, и проза феминного типа. Прозу Л. Петрушевской Г.А. Пушкарь относит к аннигиляционному типу. Под аннигиляцией исследовательницей трактуется такой синтез противоположностей, в данном случае маскулинного (мужского) и феминного (женского), который ведёт к устранению их непосредственных проявлений в словесной ткани рассказа. Условно говоря, формируется нечто третье, художественная условность, изнутри раскрывающая драматизм отношений женщины и мужчины.

А. Бастриков утверждает, что «проза Л. Петрушевской ситуативна, так как в центре повествования семейно-бытовые события, окружающие женщину. Однако самые обычные

житейские истории пронизаны различными мотивами (литературными, библейскими)... Картина мира Петрушевской в своей основе имеет мифологическую модель. Отмечены мифом все уровни текста: семантический, стилистический, семиотический, сюжетно-композиционный, уровень культурных ассоциаций. Основными концептами для автора становятся Человек, Женщина, Мужчина, Ребёнок, Жизнь, Смерть, Судьба, Время, Пространство» [3]. Тому подтверждение одна из сцен рассказа «Дитя»: «Если не было оправдания и тогда, когда она совершала своё чёрное дело, и тогда, в особенности, когда она уже стояла за зарешеченным окном на первом этаже родильного дома...» [4, с. 120].

Какое чёрное дело совершила героиня рассказа? Женщина поздней ночью родила ребёнка и пыталась убить его, заложив его камнями возле дороги. И это сделала женщина, имеющая уже двоих детей!.. Как выяснилось, все дети незаконнорожденные, неизвестен и отец новорожденного мальчика. Сама роженица работает где-то в столовой уборщицей и содержит своего отца-инвалида и детей. Героиня никому ни слова не говорила о своей беременности, не ходила к врачам и не брала отпуска; при ее полной фигуре всё прошло незамеченным, а когда подошел срок, она взяла приготовленный чемоданчик, в котором было шило и вата, и пошла рожать к реке. С самых первых дней героиня рассказа «Дитя» готовилась убить будущего ребёнка. Окружающие «пытались выяснить хоть какие-нибудь обстоятельства столь запутанного дела, спрашивали её, не хотела ли она поначалу родить ребёнка для кого-то, с которым ей хотелось в дальнейшем жить, но который её оставил» [4, с. 120]. Но ответа не получали.

На первый взгляд, сюжет рассказа прост. Женщина хотела избавиться от ребёнка. Мы ещё не знаем, осудят ли её близкие люди. Автор рассказа рисует сцену тюремного свидания с героиней её родных: «Действительно, дети были одеты, как на праздник, как на праздник вырядился и отец, слепец с палочкой – он был в светлой рубашке с короткими рукавами. Всю эту *компанию бедняков*, вырядившуюся, как на праздник, сопровождала старушка, как будто он требовал ухода и наблюдения даже в то время, когда стоял неподвижно и беседовал о чём-то со своей *преступной* дочерью, еле различимой за решеткой окна» [4, с. 124] (курсив наш – Е.М.).

Видно было, что её беззащитные родственники воспринимают преступление с какой-то иной стороны, нежели все остальные. А также они совершенно не принимали во внимание, что перед ними страшная преступница, почти детоубийца, за зарешеченным окном они говорили с ней и даже как-то передали ей за решетку какой-то *нищенский* кулёк, и вид у них был такой, словно с ними что-то произошло, какое-то несчастье; даже у посторонней старушки, которая всё время вылезала вон из кожи, чтобы дети выглядели прилично, и без нужды поправляла на них *бедные* матросские шапочки» [4, с. 121] (курсив наш, Е.М.). Для них, т.е. для старика-слепца и детей эта женщина, прежде всего, была кормилицей. Что будет с ними, если она не вернётся? Нищие и бедные, кому они нужны? Где им найти опору? Что натолкнуло эту женщину на совершение столь бесчеловечного поступка? Казалось бы, девять месяцев женщина носит в себе своё дитя. Что может быть радостнее, светлее этих месяцев, дней, которые наполнены ожиданием чуда! Но почему всё это светлое обернулось для этой женщины кошмаром той тёмной ночью, когда она совершила преступление? Для



слепого отца и детей героиня остается дорогим человеком. И поэтому на встречу с ней «эта компания бедняков», «вырядилась как на праздник». В конце рассказа нет авторского вывода, умозаключений ни о женщине, ни о её преступлении – это остаётся на суд читателя, автор отстраняется, это то, что М. Бахтин обозначил, как «трансгрессиентность» [5]. Выражения «бедные шапочки», «нищенский кулёк», «компания бедняков» – это те «социальные сигналы», которые и помогут читателю сделать соответствующие выводы о героине, именно в ракурсе «социальный пол».

А в рассказе «Еврейка Верочка» совсем иная ситуация, главная героиня жертвует собою только из-за того, что хочет родить ребёнка, т.е. автор «пометил» ещё одну немаловажную проблему женщины в современном мире.

При этом автор здесь один из персонажей: вспоминает о Верочке с любовью, сочувствует ей: «Верочка ведь родила одна, – сказала она, – без мужа. Она очень любила одного человека, но он был женат» [5, с. 128]. Но что же происходит с героями Людмилы Петрушевской? Нет нормальных семей. Жизнь настолько запутана. Маленький ребёночек Веры останется сиротой. Судьба его искалечена. Любовь и сострадание, внимание к человеку исчезают из нашей жизни, они уже не могут существовать без материальной поддержки. Петрушевская остро чувствует тенденции развития современного общества и ярко обнажает проблему. Однако обнаруживается её желание подсказать путь решения этой проблемы. Это слова соседки Веры: «Мы, евреи, – сказала соседка, – мы детей своих не бросаем, да. Отец его навещает. Покупают ему, что надо, да там и своих денег некуда девать. Там за ним глядят» [5, с. 128].

Наряду с образом женщины, жертвы обстоятельств и судьбы, причём нечастной судьбы, Петрушевская нередко даёт художественное исследование внутреннего мира женщины-матери. Так, в рассказе «Свой круг» мать жестоко избивает сына с единственной целью – вызвать к нему острое сочувствие окружающих. Она знает, что обречена на смерть, так как больна смертельной болезнью, что окружающим её людям предстоит отвечать за мальчика. Но дёшево доставшаяся сцена с избиванием ребёнка получает желаемое продолжение: сложнейшая интрига, затеянная рассказчицей и основанная на точном психологическом расчёте, оканчивается блистательным успехом. Всё это произошло на вечере, устраиваемом рассказчицей раз в год на Пасху: вместо трогательного прощания – удар по лицу ребёнка. Мать надеется, что после её смерти сын поймёт и простит её за это. Казалось бы, непонятно, почему героиня именно таким способом оставляет сына на попечении окружающих. Кто эти люди, откуда они?

Андрей Зорин в своей статье «Круче, круче, круче...» даёт характеристику героям рассказа «Свой круг»: «Одна из героинь рассказа бесплодна и не имеет четырёх передних зубов, другой – стукач и полный импотент, о чём все знают, благодаря болтливости жены, у которой, в свою очередь, «глаз выскакивает из орбиты и вываливается на щеку, как яйцо всмятку», что единственно и сообщает эротические возможности её мужу, оказывающемуся на высоте только в ночи её припадков...» [6, с. 198-204].

Почему мать-рассказчица прибегла к такой мере: избить своего ребёнка? По-видимому, здесь произошёл поразительный излом, вернее, слом, извечная для русской литературы тема сострадания к ребёнку, тема «детской слезинки». Вид детской крови подействовал на взрослых угнетающе. Они все как один не могли видеть детской крови, они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребёнок, дети для них святое. Расчет матери был верным. Она спокойно умрёт, ибо знает, что её сына окружают вниманием. Таня будет брать Алёшку на лето к морю. Коля, взявший Алёшку на руки, уже не тот Коля, который ударил когда-то этого Алёшку плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького гнилозубого Алёшку. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот средств, и, гля-

дишь, устроит Алёшу в институт. Дольше всех романтически будут любить его Андрей-стукач и его бездетная жена.

Все эти люди в равной степени способны и на сострадание, и на жестокость (вспомним, если бы мать не устроила его судьбу, то он после её смерти пошёл бы по интернатам и был бы трудно принимаемым гостем в доме отца). Это говорит о том, как невыносимо трудно жить женщине-матери, и потому она порой ищет чудовищно неординарные решения физического и психологического свойства.

Всё это делает прозу Людмилы Петрушевской, лишённой метафоричности, изыска, красоты и гармонии, очень обыденной и приниженной: герои рассказа «Свой круг» – «бесплодна», «беззуба», «с глазами, выскакивающими из орбиты», и «импотент», «стукач», «гнилозубый» Алёшка с «недержанием мочи». Петрушевская лишь копирует жизнь, она как бы выступает в роли художника, который своим пером обнажает противоречивую действительность до уродств.

Персонажи Петрушевской, безусловно, «маленькие люди». Здесь немаловажную роль сыграла традиция отечественной классики (Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Чехов) с её вниманием к «бедным людям», «маленькому человеку», с её гуманизмом и состраданием.

С.П. Бавин пишет в своём библиографическом очерке, что неоднократно об этом говорила и сама Петрушевская, в частности, в преамбуле к своему сценарию мультфильма по «Шинели» Гоголя: «Милосердие есть первое движение человека, охваченного жалостью... Попробуй-ка, приюти бездомного!... И добрый, благонравный человек инстинктивно отшатывается от несения такого креста... Литература XIX века не решала вопросы немедленно. Не давала адреса того тщедушного старика... Литература, как людская молва утром после убийства, разглашала обстоятельства. Газета бы потребовала наказать виновных. Суд бы их приговорил. Литература обратилась к чувству милосердия читателя...» [7, с. 5].

В этом социуме женщина является главным действующим лицом. На хрупкие женские плечи падает этот тяжелейший груз обыденной жизни. Женщины у Петрушевской жесткие, злые, циничные. Волчицы, но волчицы, спасающие детёнышей. Поэтому злоба и жестокость, оскаленные зубы, но ради детей, а значит рядом и жалость, и любовь, и страдание. Материнство для этих женщин является высшей ценностью, мерилом совести и морали. Петрушевская всегда с ними. Она сострадает им, переживает их драмы. Проживает их жизни.

В рассказе «Я тебя люблю» героиня- женщина-мать. Это рассказ о заурядных людях. Главным персонажем является интеллигентный неудачник: это ясно из первых же строк: «С течением времени все его мечты могли исполниться, и он мог бы соединиться с любимой женщиной, но путь его долог и ни к чему не привёл... Он схоронил тещу, а теперь *терпеливо* дожидается. Пока умрёт жена. Почему-то он знал, что она умрёт и освободит его и готовился к этому очень активно: вёл здоровый спортивный образ жизни, занимался по утрам бегом, баловался даже гириями, ел только по системе, и при этом успевал много работать и дослужился до зав.отделом, ездил по заграницам – всё ЖДАЛ» [8, с. 123-124] (курсив наш, Е.Д.).

С самого начала на протяжении всего рассказа главного героя сопровождает деталь – журнальная картинка с фотографией любимой женщины. Она висела над столом на кнопках, а жена ни в чём не перечила, хотя была строгой женщиной и повелевала всем в доме. Эта фотография висела у него над столом и тогда, когда умерла теща, и тогда, когда он ушёл на новое место работы, и даже тогда, когда дети его, мальчик и девочка, подросли. В этой картинке были видны только «пухлые ножки в туфельках» [8, с. 124]. В жизни же обладательница этих ножек капризная блондинка, которая стремится не упустить свой шанс. Антиподом этой женщины является жена главного героя. В прошлой жизни, когда жена была молодой, симпатичной, с ямочками, с толстой косой, она становится для читателя привлекательной, своей

женственностью и «домашностью». Петрушевская подробно описывает, как «жена ухаживала за мужем и за матерью, следила за детьми, преданная бегала для хозяина своей жизни на базар» [8, с. 123]. Главное – у неё были дети, с которыми она по выходным старалась ходить в походы и посещать планетариум. Дети были её будущим, она надеялась на них, надеялась, что в старости они не бросят мать одну. Потому что «она-то, похоже, и вообще не верила в то, что муж её любил, что этот шикарный, с седыми висками, мужчина – её муж» [8, с. 125]. Желаемая развязка, когда муж «казнит» себя за то, что недолюбил, недодал, приходит в конце, но нет уже той, которая ему отдала всё.

Образу героини в данном рассказе всегда противопоставит образ мужчины, он далек от супермена и героя, в типичной гендерно-женской прозе. Он неудачник. По мнению критика Т. Касаткиной, – «Мужчина у Петрушевской так всегда и будет «толстеньким ребенком», ничего не понимающим и безответственным, причиной, поводом для любви, для страдания, для самоотдачи – для отдачи того, что никому вроде бы и не нужно, и за что никто не поблагодарит, но без чего, на самом деле, не будет стоять мир» [9]. В этом рассказе героиня Петрушевской в социальном аспекте была порабощена мужчиной, который не считался с её мнением, ей только оставалось остаться наедине с детьми. Напрашивается вывод – это участь многих женщин.

История женского одиночества, обречённости, отчаяния – главная сюжетная линия в рассказе «Сон и пробуждение». Героиня рассказа – девушка лёгкого поведения. Она постоянно обманывает себя, что завтра начнёт новую жизнь. Вторая сторона её двойного портрета резко контрастирует с реальным образом жизни этой героини: «Лицо скульптуры, из тех римских богинь, которые иногда рождаются на Украине – брови вразлёт, нос короткий и тупой, рот полный и классически вылепленный, подбородок крутой, круглый, просто как-нибудь Минерва. Всё красиво и гармонично, всё дышит классической печалью, только зачем всё это, когда нет жилья, снимает комнату и дёшево идет в любые руки, просто от тоски» [8, с. 122]. Здесь развивается одна из важных тем русской классической литературы – тема проституции как символа жертвенности, ярко представленная в романах Ф. Достоевского. Продолжая традицию Достоевского, Петрушевская дает описание женщин легкого поведения через

сострадательное к ним отношение: «Каждый вечер лихорадочные приготовления, каждый вечер надежды на несбыточное, вроде найти принца, бросить курить и т.д., и каждое утро стремление завтра начать новую жизнь, а вчерашнее – сон, кошмар, ошибка» [8, с. 122]. Суть этого контраста в самих строках повествования.

Петрушевская широко применяет приём антитезы. Он используется писательницей практически во всех её рассказах и повестях, где надо соотнести контрасты жизненных реалий и ситуаций. М. Липовецкий пишет: «Индивидуальность, «диалектика души», все прочие атрибуты реалистического психологизма... полностью замещены одним – роком. Человек у неё полностью равен своей судьбе, которая, в свою очередь, вмещает в себя какую-то крайне важную грань всеобщей – и не исторической, а именно той вечной, изначальной судьбы человечества» [10].

Современное состояние нашего общества ведёт к нелёгким социальным взрывам. Расширяется пропасть между «богатыми» и «бедными». Люди становятся бесчувственными и безразличными.

Известный критик Д. Быков метко и образно охарактеризовал проблемную прозу Л. Петрушевской, сказав, «Что такую прозу, как у Людмилы Петрушевской, мог бы написать гестаповец: жестоко и сентиментально одновременно. Дело только в том, что жестокость – обратная сторона сентиментальности: так воспринимает мир изначально сентиментальный, мучительно страдающий человек. Надо приспособиться, привыкнуть. Вместе с героем меняются язык, автор и, наконец, читатель. И тогда ему открывается не то, чтобы просвет, но утопия в аду, идиллия на руинах. Все прежние мифы разрушены до основания» [11, с. 34-35]. Сказано язвительно, но верно. Важно и то, что из обломков мифов творится новый, современный, хоть и страшный, но, может быть, счастливый мир.

Рассмотренная в данной статье гендерная проблематика и её реализация в малой прозе Л. Петрушевской подтверждает, что в женской прозе зачастую особое внимание уделяется феномену отчуждения, жестокости в человеческих взаимоотношениях, постижению автором-женщиной не только внутреннего мира женщины, но и миропорядка мужчины, крутых поворотов бытия, в которых оказывается просто человек.

#### Библиографический список

1. Пушкарёва, Н.Л. Гендерный подход в исторических исследованиях // Вопросы истории. – 1998. – № 6.
2. Ровенская, Т.А. Новая амазонка в интерьере женской прозы // Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. – Минск, 2000.
3. Бастриков, А.В. Особенности женской картины мира (на материале текстов Л. Петрушевской) // Русская и сопоставительная филология: лингвокультурологический аспект. – Казань, 2004.
4. Петрушевская, Л.С. В садах других возможностей. Рассказы // Новый мир. – 1993. – № 2.
5. Бахтин, М. Автор и герой в эстетической деятельности. – М., 1979.
6. Зорин, А. «Круче, круче, круче...» // Знамя. – 1992. – № 10.
7. Бавин, С.П. Обыкновенные истории Л.С. Петрушевской. Библиографический очерк. – М., 1995.
8. Петрушевская, Л.С. В садах других возможностей. Рассказы // Новый мир. – 1993. – № 2.
9. Касаткина, Т. «Но страшно мне: изменишь облик ты» // Новый мир. – 1996. – № 4.
10. Липовецкий, М.Н. Трагедия и мало ли что ещё // Новый мир. – 1994. – № 10.
11. Быков, Д. Рай уродов (О творчестве Л.Петрушевской): очерк // Новый мир. – 1993. – № 8.

#### Bibliography

1. Pushkareva, N.L. Genderniyj podkhod v istoricheskikh issledovaniyakh // Voprosih istorii. – 1998. – № 6.
2. Rovenskaya, T.A. Novaya amazonka v interjere zhenskoy prozih // Inoy vzglyad. Mezhdunarodniy aljmanakh gendernihk issledovaniy. – Minsk, 2000.
3. Batrikov, A.V. Osobennosti zhenskoy kartinih mira (na materiale tekstov L. Petrushevskoy) // Russkaya i sopostavitelnaya filologiya: lingvokultrologicheskij aspekt. – Kazanj, 2004.
4. Petrushevskaya, L.S. V sadakh drugih vozmozhnostey. Rasskazih // Novihy mir. – 1993. – № 2.
5. Bakhtin, M. Avtor i geroy v ehsteticheskoy deyatel'nosti. – M., 1979.
6. Zorin, A. «Kruche, kruche, kruche...» // Znamya. – 1992. – № 10.
7. Bavin, S.P. Obihknovennihe istorii L.S. Petrushevskoy. Bibliograficheskij ocherk. – M., 1995.
8. Petrushevskaya, L.S. V sadakh drugih vozmozhnostey. Rasskazih // Novihy mir. – 1993. – № 2.
9. Kasatkina, T. «No strashno mne: izmenish oblik tih» // Novihy mir. – 1996. – № 4.
10. Lipoveckiy, M.N. Tragediya i malo li chto etho // Novihy mir. – 1994. – № 10.
11. Bihkov, D. Rayj urodov (O tvorchestve L.Petrushevskoy): ocherk // Novihy mir. – 1993. – № 8.

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 811.512.141

*Salyakhova Z.I. THE CONCEPTS OF VOICE PROBLEMS STUDYING IN LINGUISTICS.* The article is devoted to studying the concepts of voice problems in linguistics. The history and development of the doctrine of voice category, as well as its various ways in linguistics are demonstrated. Urgent on modern phase of linguistics theory voice category, which is associated with functional-semantic trend in the study of linguistic phenomena is considered.

**Key words:** voice, classification, principle, semantics, word formation, morphogenesis, transitivity, intransitivity, reflexivity.

**З.И. Салыхова**, канд. филол. наук, доц. СГПА им. Зайнаб Бишшевой, г. Стерлитамак,  
E-mail: s.zuhra@hotmail.com

## ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ЗАЛОГОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Статья посвящена изучению концепций залоговой проблематики в лингвистике. Прослеживается история и развитие учения о залогах, а также различные направления изучения категории залога в языкознании. Рассматривается особо актуальная на современном этапе развития теории языкознания категория залоговости, которая связана с функционально-семантическим направлением изучения языковых явлений.

**Ключевые слова:** залог, залоговость, классификация, принцип, семантика, словообразование, формообразование, переходность, непереходность, возвратность.

Термин *залог* (перевод с греческого *diathesis*) употреблялся уже в древнейших грамматиках церковнославянского, а затем и русского языков. Будучи калькой, точным морфологическим слепком греческого слова, этот термин издавна не удовлетворял русских грамматистов (даже тех, кто признавал категорию залога живым и существенным элементом грамматической системы русского глагола). В понятие залога вкладывалось и вкладывается крайне разнообразное и противоречивое лексико-грамматическое содержание [1, с. 476]. Несмотря на то, что категория залога прошла длинный путь исторического развития, учение о залогах до сих пор содержит очень много неясностей. Еще древнеиндийские, древнегреческие, римские и латинские языковеды определили залог как грамматическую категорию, его формы (действительный, страдательный, средний, общий, отложительный), семантический признак и предполагали существование безличного залога. Исследования древних языковедов послужили отправной точкой для изучения залоговой проблематики в лингвистике.

Мелетий Смотрицкий впервые цельно изложил систему славянских залогов. Смотрицкий предварительно до изложения системы залогов устанавливает два класса глаголов: переходных и непереходных («самостоятельных»). Далее Мелетий Смотрицкий устанавливает пять залогов: действительный, страдательный, средний, отложительный и общий. «Действительный залог есть, иже действо знаменует слога *–ся*, страдательный из себе творит: яко *бую, творю* и прочая. Страдательный есть, иже страдание знаменует, и за отложением *–ся* слога действительный бывает: яко *буюся, творюся* и прочая. Средний есть, иже ни действо знаменует, ни страдание, и во страдательное не прелагается: яко *стою, здравствую, теплею* и прочая. Отложительный есть, иже окончание убо страдательного иметь, знаменование же или действительного самого яко *буюся* или самого среднего яко *трудождюся* и прочая. Общий есть, иже окончание страдательного иметь, знаменование же действительного вкупе и страдательного яко *касаюся* и прочая» [2, с. 182]. Все эти определения представляют собой механическое перенесение греко-римской грамматической традиции на почву славянской грамматики [3, с. 17]. Установленная им система залогов, отличалась всеми недостатками, характерными для греко-римской классификации глаголов по залогам, несмотря на это концепция Мелетия Смотрицкого послужила отправной точкой для целого ряда авторов более поздних периодов при изучении залогов. Влияние греко-римских традиций наблюдалось и во взглядах М.В. Ломоносова на залого. Все же он подверг существенным изменениям систему Мелетия Смотрицкого, приспособив ее в значительной мере к особен-

ностям русского языка. Он определил шесть залогов: действительный, страдательный, возвратный, взаимный, средний и общий. М.В. Ломоносов дал определение каждому залогу. Исключив из системы Смотрицкого отложительный залог, он на основе значений глаголов на *–ся* установил два новых залога: возвратный и взаимный. Необходимо отметить, что М.В. Ломоносов обратил внимание на связь залоговых форм с различиями реальных значений глаголов и с различиями их синтаксического употребления и впервые обстоятельно осветил значение глаголов на *–ся* и их развитие, чем он дал большой толчок лингвистической мысли для работы в этой области.

В грамматиках первой половины XIX в. учение о залоге сводилось к лексико-синтаксической классификации глаголов по характеру отношения действия к объекту [1, с. 477] А.Х. Востоков устанавливает в глаголах те же шесть залогов, что и М.В. Ломоносов. Но он делает оговорку: «Из них главные суть два: действительный и средний. Прочие происходят от действительного» [3, с. 20]. А.Х. Востоков считал, что залогов различаются не по окончаниям, а «по значению», какое глагол получает в употреблении с другими словами. Продуктивными представляются мысли А.Х. Востокова о том, что залог глагола определяется в зависимости от его конкретных синтаксических связей. С точки зрения А.Х. Востокова, в категории залога чаще всего выступает синтаксическая и лексическая стороны глагола в их взаимной связи, в их соотношении. Его концепция в основном характеризуется тем, что в ней отсутствует единый принцип определения залога, который мог бы служить единым основанием для деления глаголов по залоговым группам [3].

Г.П. Павский выделил в категории залога три общих семантико-грамматических типа: действительный, страдательный и средний (т.е. глаголы переходного, страдательного и непереходного значений). Он связывал это деление глаголов с «различными состояниями живущих, действующих и страдающих существ» [4, с. 3]. По мнению Г.П. Павского, основная функция возвратной формы – делать глаголы непереходными. В связи с этим возвратные глаголы включаются в систему среднего залога (кроме тех, которые имеют страдательное значение). Действительный глагол, принявший частицу *–ся*, которая останавливает действие при самом лице и не позволяет ему переходить на внешние предметы, принимает вид и значение среднего залога, и все возвратные глаголы можно назвать средними [4]. Г.П. Павский так же как и А.Х. Востоков утверждал, что среди глаголов «средних возвратных» обособленную группу составляют слова, которые образуются посредством приклейки *–ся* к формам среднего

залога: *стареться, белеться, краснеться*. Г.П. Павский сопоставлял эти глаголы со словосочетаниями *идет себе, живет себе* («*снег белеется*» равносильно: *белеет себе*), а также различал взаимные глаголы и глаголы, в которых частицей *–ся* изображается безличность. В трудах Г.П. Павского было установлено несколько новых значений, свойственных формообразующему суффиксу *–ся*. Несмотря на продуктивность исследования залога, в концепции Г.П. Павского была затенена синтаксическая точка зрения на залог [1, с. 478].

Ф.И. Буслаев в работе «Историческая грамматика» собрал очень богатый фактический материал, освещенный с исторической точки зрения, чем значительно способствовал разрешению основных вопросов, связанных с проблемой залогов. Залог, по мнению Ф.И. Буслаева, прежде всего, означает действительность предмета или переходящую на другой предмет, напр., *читаю книгу, привыкаю к труду*, или непереходящую, напр., *стою* [5, с. 343–344]. Буслаев называет глаголы первого типа переходящими, глаголы второго типа непереходящими. Эти два общих и основных класса глаголов, связанных с разными синтаксическими конструкциями, – глаголы переходящих и непереходящих – по залоговым различиям одинаково распадалась на группы действительных, страдательных, средних и возвратных глаголов. В.В. Виноградов подверг критике это деление и отметил, что в делении глаголов выступают ошибки и противоречия, так как, по Буслаеву, действительные глаголы находятся как среди переходящих, так и непереходящих глаголов.

Между тем «действительный глагол» означает действие предмета, переходящее на другой предмет, название которого ставится в винительном падеже [1, с. 479]. А.А. Потебня писал: «Каким же образом действительный глагол, по сущности переходящий, может быть в то же время непереходящим и, наоборот, средний, по сущности непереходящий, может быть в то же время переходящим?» [6, с. 197]. Несмотря на такого рода критику, концепция Ф.И. Буслаева была основана на анализе многочисленных фактических материалов древности и современного ему состояния залогов, и, безусловно, имели значение для дальнейшего их изучения. Существенную роль в процессе разработки залогов сыграли исследования К.С. Аксакова [7, с. 542–557]. К.С. Аксаков, не отказываясь окончательно от учения о залогах, пытался вложить в него новое грамматическое содержание. Ученый решительно выдвигал принцип соотносительности как основу залоговых различий. Прежде всего он противопоставлял глаголы без *–ся* глаголам возвратным с *–ся*. Концепция К.С. Аксакова почти целиком совпадает с тем учением о залогах русского глагола, которое было впоследствии развито акад. Ф.Ф. Fortunatovым в статье «О залогах русского глагола» [8].

Существенную роль в процессе разработки залогов русских глаголов сыграли замечания, сделанные В.И. Далем по этому вопросу. В.И. Даль в процессе работы над словарем [9] практически столкнулся со всем несовершенством разработанной до него системы залогов. Он отметил, что применение принятой системы залогов на практике приводит к невероятной путанице. Приведя целый ряд нелепостей, допущенных в Академическом словаре при указании залога глаголов, В.И. Даль писал, что это не случайные ошибки, а вытекающие из самой сущности принятой системы. Он считал, что «для русского языка распределение глаголов на залоговые дело вовсе постороннее, случайное, переходчивое; они могут, хотя без всякой пользы, применяться только к каждому частному случаю» [10]. В.И. Даль указал на то, что русские глаголы по своему образованию делятся на два основных разряда: прямые (невозвратные) и возвратные. Мысль о двух разрядах глаголов, выраженная Далем, оказалась весьма продуктивной для дальнейшей разработки системы залогов. С мыслями В.И. Даля о залогах совпали выводы Н.П. Некрасова, который признавал существование двух основных классов глаголов: невозвратные (прямые) и возвратные.

Н.П. Некрасов утверждал, что в делении глаголов на два разряда В.И. Даль отражается простой, здравый научный смысл русского человека, не забитого теорией и школярством, и меткий взгляд на самую теорию русского глагола. Однако, каким бы справедливым не было это деление, оно требует объяснения или некоторого оправдания. Этому объяснению Н.П. Некрасов посвятил свои дальнейшие исследования [11, с. 32–83].

В конце XIX в. дан был новый толчок развитию учения о залогах трудами Ф.Ф. Fortunatova и его учеников – Г.К. Ульянова и В.К. Поржезинского [1]. В.В. Виноградов отмечал, что статья акад. Ф.Ф. Fortunatova «О залогах русского глагола» [8] уточнила и объединила то, что было наиболее ценного в предшествующей грамматической традиции. С. Карцевский утверждал, что исследование Ф.Ф. Fortunatova, уточнившая идеи Н. Некрасова и показавшая, что актуальной функцией возвратной формы является интранзитивизация переходных глаголов, ознаменовала собой новый этап в изучении залогов [12, с. 82]. Концепция залогов, построенная Ф.Ф. Fortunatovым, была основана на принципе соотносительности грамматических форм и соответственных значений. Анализируя многообразие глагольных форм с *–ся* в русском языке, Ф.Ф. Fortunatov в первую очередь выделял глаголы, которые без *–ся* не существуют, и указывал, что они вследствие отсутствия соотносительности не имеют значения отдельной грамматической формы. Он выделял формы с *–ся*, образованные от переходных глаголов и формы с *–ся*, образованные от непереходных глаголов. Ф.Ф. Fortunatov определил наиболее важные значения глагольных форм с *–ся*, образованные от переходных глаголов. Исследуя глагольные формы с *–ся*, образованные от непереходных глаголов (например, *хвастаться, краснеться*) Ф.Ф. Fortunatov указывал, что данные формы с *–ся* не имеют значения непереходного залога, так как при них нет соотносительных форм без *–ся* с переходным значением, т.е. формой залога, по его мнению, располагают лишь соотносительные, парные глаголы без *–ся* и на *–ся*. Он резко обособлял те группы, которым присуща лишь форма возвратного залога, но не значение, не функция ее. Ф.Ф. Fortunatov в глаголах различал только два залога: переходный залог – глагольные формы без *–ся*, имеющие переходное значение, и непереходный залог – соотносительные формы с *–ся*, имеющие непереходное значение.

Новых значений возвратной формы и новых типов возвратных глаголов, по сравнению с теми, которые уже были отмечены А.Х. Востоковым, Г.П. Павским и К.С. Аксаковым, у Fortunatova не было отмечено. В концепции залога Ф.Ф. Fortunatova морфологические признаки явно возобладали над синтаксическими, отмечает В.В. Виноградов [1, с. 483]. Отношение к субъекту, обобщенное до понятия непереходности, вовсе не исчерпывало тех синтаксических явлений, которые сочетались с категорией залога. Проблема залоговых различий отрывалась от вопроса о строе предложения и его типах. Несмотря на это, схема залогов Ф.Ф. Fortunatova оказала решительное влияние на последующие грамматические суждения о залогах. Концепцию акад. Ф.Ф. Fortunatova дополнил В.К. Поржезинский [13], указав еще на два залоговые значения возвратной формы: непереходное возвратное значение и значение полноты проявления признака.

Особую значимость в учении о залогах представляют труды А.А. Потебни. По учению А.А. Потебни, ни один глагол не может сразу обладать несколькими залоговыми значениями: «Выражение: глагол такой-то переходит в такой-то залог – мы должны понимать таким образом, что перед нами два различных, но однозвучных глагола, принадлежащих к двум различным залогам, и что глаголы эти находятся между собою в отношении исторического преемства» [14]. Залоговое значение, по мнению А.А. Потебни, возникает и осуществляется в предложении, в составе которого слово только и живет настоящей, индивидуальной жизнью. Залог, как отмечал А.А. Потебня, есть отношение субъекта к объекту, точнее: отношение сказуемого к подлежащему и дополнению [14]. Далее он писал, что

деление глаголов на объективных и субъективных – зерно, из которого вырастает категория залога.

Синтезировать теорию залогов Ф.Ф. Фортунатова с учениями А.А. Потебни намеревался А.А. Шахматов. В.В. Виноградов развивая концепцию Фортунатова-Шахматова отметил, что Шахматов очень близок к Фортунатову и его школе в понимании сущности залога и в определении значений возвратной формы [1, с. 614]. Определение залога А.А. Шахматова целиком совпадает с определением Ф.Ф. Фортунатова. А.А. Шахматов отметил, что формами залога называются «те различные произведенные от одного и того же глагола образования, в которых обозначаются различного рода отношения действия или состояния, выраженного глаголом, к его субъекту» [15, с. 168-188]. Он указал, что морфология при изучении залогов занимается выяснением тех формальных средств, которыми выражается категория залога. В русском языке, по мнению А.А. Шахматова, имеется два формальных способа выражения залога: 1) исконно существующие различные формы причастий, образованных от глаголов, обозначающих действие или состояние, происходящее от самого субъекта (причастие действительного залога) и от глаголов, обозначающих действие, переходящее с другого (психологического) субъекта на субъект предиката (причастия страдательного залога); 2) прибавление частицы –ся. Вслед за Ф.Ф. Фортунатовым он признает, что наряду с глаголами, обозначающими залоговые различия, в русском языке много глаголов, не подводимых под категорию залога из-за отсутствия соотносительных форм (например, *идти, длженствовать, возненавидеть, бояться*). Опираясь на более широкий и разнообразный материал, А.А. Шахматов различал в кругу возвратных глаголов те же оттенки значений, что и Ф.Ф. Фортунатов. Так же как и Ф.Ф. Фортунатов он делил залоговые группы на три основные группы: действительный, страдательный и возвратный (термин «средний залог» он заменил на термин «возвратный») [15, с. 61-67]. Таким образом, в соответствии с теорией А.А. Потебни признак переходности и непереходности становится у А.А. Шахматова фундаментом учения о залогах. О. Паролкова [16, с. 33] утверждала, что теории Фортунатова и Шахматова являются антиподами, взаимно исключающими друг друга. Однако И.П. Мучник [3, с.8], указывал, что нельзя согласиться с этой мыслью, так как в этих теориях содержится больше общего, чем различного.

Концепция Ф.Ф. Фортунатова получила то или иное отражение в учениях В.В. Виноградова [1, с. 476-510], который разъяснил значения формообразующего и словообразовательного аффикса –ся, стремился определить соотношения между глаголами на –ся и глаголами без –ся, а также осветил вопрос об активных и пассивных оборотах, о переходных и непереходных значениях глаголов. В.В. Виноградов отмечал, что в русском языке категория залога прежде всего выражается в соотношении возвратных и невозвратных форм одного и того же глагола. На основе этого явления лежит синтаксическое свойство глагола воспроизводить оттенки одного общего грамматического понятия (отношения действия к субъекту и объекту) соотносительными формами – основной и производной, осложненной агглютинативным аффиксом –ся. В.В. Виноградов, отмечая неоднородность семантической природы залога, полагал, что категория залога находится на самой пограничной черте между грамматикой, лексикологией и фразеологией, в области грамматики – ближе к синтаксису предложения, чем к морфологии слова.

Залоговые являются самой «запутанной» проблемой русской грамматики, считал С. Карцевский [12]. По его мнению, в традиции русской грамматики было принято называть залогами то, что в действительности представляло две разные системы отношений, из которых одна вращается вокруг понятия «объект», центром другой является понятие «деятель». Понятие «деятель» в свою очередь, должна рассматриваться в двух планах: с точки зрения безличности процесса и с точ-

ки зрения отношений между деятелем и подлежащим. С. Карцевский указывает, что именно понятие «деятель», соответствует субстанции, производящей действие (процесс). Эта субстанция стремится всегда выступать в качестве подлежащего в предложении, и в зависимости от того, достигает она этого или нет, предложения выступают то как действительные, то как страдательные. И.П. Мучник подверг критике мысли С. Карцевского, относительно префиксации как средства транзитивации непереходных глаголов. По мнению И.П. Мучника, аналогия между префиксацией как средством транзитивации и возвратной формой, как средством нейтрализации представляется несостоятельной. Эти явления существенно отличаются друг от друга. В то время как любой переходный глагол, сочетаясь с –ся, становится непереходным, очень многие непереходные глаголы, присоединяя к себе префикс, все же продолжают оставаться непереходными. Следовательно, по степени универсальности, префиксация, как средство транзитивации, нельзя сравнить с возвратными формами, как средствами нейтрализации. Кроме того, утверждал И.П. Мучник, присоединение к непереходному глаголу префикса изменяет во всех случаях не только его грамматическое значение (транзитивация), но и лексическое (*верить, уверить, сверить*) [3, с. 44]. И.П. Мучник отметил, что концепции «возвратность-невозвратность» и «действительный и страдательный залог» требуют всесторонней разработки с привлечением большого круга языковых фактов.

Таким образом, принципиальные основы первой концепции залогов были заложены в статье Ф.Ф. Фортунатова «О залогах русского глагола» [8]. С. Карцевский утверждал, что статья Ф. Фортунатова, уточнявшая идеи Н. Некрасова и показавшая, что актуальной функцией возвратной формы является интранзитивизация переходных глаголов, ознаменовала собой новый этап в изучении залогов [12, с. 82]. А. Маргулиес писал: «Краткая статья (Ф. Фортунатова) богатством мыслей и убедительностью выделяется среди всего, что сказано в славистике о залоге» [17, с. 19]. Концепция Ф.Ф. Фортунатова получила то или иное отражение в работах А.М. Пешковского, М.Н. Петерсона, А.А. Шахматова, В.В. Виноградова, С. Карцевского, Р. Якобсона. Сравнительно позже появилась насыщенная богатым материалом работа Н.А. Янко-Триницкой «Возвратные глаголы в современном русском языке» [18], где содержится своеобразная трактовка ряда явлений в сфере возвратности-невозвратности. В работе Н.А. Янко-Триницкой осуществлена одна из первых попыток критического обозрения эволюции изучения залогов русских глаголов с древнейших пор, с учетом разнообразных форм изучения этой категории в далекой древности: у индусов, греков и римлян [3, с. 10]. Необходимо отметить, что возвратность-невозвратность представляют важную часть залоговой проблематики и в настоящее время.

На современном этапе развития теории языкознания особую актуальность приобретают системно-структурные аспекты лингвистического анализа в единстве с аспектами коммуникативно-функциональными. Результаты семантических исследований требуют поисков нового в сфере системности, охватывающей различные типы языкового содержания в их соотношении к средствам формального выражения. Интенсивное развитие лингвистической семантики становится стимулом для осмысления роли и формы, системы и структуры в целостном комплексе научного познания языка и речи [19, с. 10]. В связи с разработкой теоретических оснований функциональной грамматики, базирующейся на понятии поля, была осознана возможность и целесообразность более дифференцированного представления ряда ФСП (функционально-семантического поля). Как комплекс ФСП целесообразно рассматривать и залоговость. Основанием для этого служат, по мнению А.В. Бондарко, с одной стороны, различия между ФСП активности и пассивности, возвратно-

сти, взаимности и переходности/непереходности, а с другой – наличие между ними определенной общности. Концепция залоговости предполагает, что речь идет не просто об отношении действия к субъекту и объекту (такое отношение само по себе всегда одинаково в денотативно-понятийном аспекте – в том смысле, что если в ситуации есть действие, субъект и объект, то действие всегда осуществляется субъектом и так или иначе затрагивает объект). Речь идет об отношении к семантическим категориям субъекта и объекта, рассматриваемым в их соответствии с тем или иным элементом синтаксической структуры предложения [20, с. 127-129]. Развитие

концепции залоговости нашли отражение в трудах А.В. Бондарко, В.С. Храковского, Э.Ш. Генюшене, В.П. Недялкова, Ю.А. Пупынина, М.А. Шелякина, И.Б. Долинина и др.

Обобщая вышеизложенное, нужно отметить, что залоговость может быть определена как комплекс функционально-семантического поля, которые охватывают разноуровневые средства, характеризующие глагольное действие в его отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, которым соответствует тот или иной элемент синтаксической структуры предложения (подлежащее, прямое или косвенное дополнение).

#### Библиографический список

1. Виноградов, В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – М., 1972.
2. Грамматика Славянская правильное Синтагма, потщанием многогрешного мниха Мелетия Смотрицкого... – М., 1648.
3. Мучник, И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке. – М., 1971.
4. Павский, Г.П. Филологические наблюдения над составом русского языка. Рассуждение 3. О глаголе. – СПб., 1842.
5. Буслаев, Ф.И. Опыт исторической грамматики русского языка. – М., 1858. – Ч.2.
6. Потебня, А.А. Из записок по русской грамматике. – М.; Л., 1941. – Т.4.
7. Аксаков, К.С. О русских глаголах: полн.собр.соч. – М., 1875. – Т.2. – Ч.1.
8. Фортунатов, Ф.Ф. О залогах русского глагола // Известия ОРЯС. – СПб., 1899. – Т. IV. – Кн. 4.
9. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – СПб., 1880.
10. Даль, В.И. Второе введение: о русском слове // Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1955.
11. Некрасов, Н.П. О значении форм русского глагола. – СПб., 1865.
12. Karcevski, S. Systeme du verbe russe. – Praha, 1927.
13. Поржезинский, В.К. Возвратная форма глаголов в литовском и латышском языках. – М., 1903.
14. Потебня, А.А. Из записок по русской грамматике. – М.; Л., 1941. – Т. 4.
15. Шахматов, А.А. Очерк современного русского литературного языка. – М., 1941.
16. Parolkova, O. K problematice zvratnych sloves a tzv. zvratneho pasiva v soucasne spisovne ruštine a češtině. «Slavia», ročn. XXXVI. seš. I. – Praha, 1967.
17. Margulies, Alf. Die Verba reflexive in den slavischen Sprachen. – Heidelberg, 1924.
18. Янко-Триницкая, Н.А. Возвратные глаголы в современном русском языке. – М., 1962.
19. Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры / Я.Э. Ахипкина, А.В. Бондарко [и др.] / отв. ред. А.В. Бондарко, С.А. Шубик. – СПб., 2005.
20. Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость / А.В. Бондарко, Т.В. Булыгина [и др.] / отв. ред. А.В. Бондарко. – СПб., 1991.

#### Bibliography

1. Vinogradov, V.V. Russkij yazyk (grammaticheskoe uchenie o slove). – M., 1972.
2. Grammatika Slavenskaya pravilnoe Sintagma, potthaniem mnogogreshnogo mnikha Meletiya Smotrickogo... – M., 1648.
3. Muchnik, I.P. Grammaticheskie kategorii glagola i imeni v sovremennom russkom literaturnom yazyhke. – M., 1971.
4. Pavskij, G.P. Filologicheskie nablyudeniya nad sostavom russkogo yazyhka. Rassuzhdenie 3. O glagole. – SPb., 1842.
5. Buslaev, F.I. Opiht istoricheskoy grammatiki russkogo yazyhka. – M., 1858. – Ch.2.
6. Potebnya, A.A. Iz zapisok po russkoj grammatike. – M.; L., 1941. – T.4.
7. Aksakov, K.S. O russkikh glagolakh: poln.sobr.soch. – M., 1875. – T.2. – Ch.1.
8. Fortunatov, F.F. O zalogakh russkogo glagola // Izvestiya ORYaS. – SPb., 1899. – T. IV. – Kn. 4.
9. Dalj, V.I. Tolkovihy slovarj zhivogo velikorusskogo yazyhka. – SPb., 1880.
10. Dalj, V.I. Vtoroe vvedenie: o russkom slovare // Tolkovihy slovarj zhivogo velikorusskogo yazyhka. – M., 1955.
11. Nekrasov, N.P. O znachenii form russkogo glagola. – SPb., 1865.
12. Karcevski, S. Systeme du verbe russe. – Praha, 1927.
13. Porzhezinskij, V.K. Vozvratnaya forma glagolov v litovskom i latihshskom yazyhkakh. – M., 1903.
14. Potebnya, A.A. Iz zapisok po russkoj grammatike. – M.; L., 1941. – T. 4.
15. Shakhmatov, A.A. Ocherk sovremennogo russkogo literaturnogo yazyhka. – M., 1941.
16. Parolkova, O. K problematice zvratnych sloves a tzv. zvratneho pasiva v soucasne spisovne ruštine a češtině. «Slavia», ročn. XXXVI. seš. I. – Praha, 1967.
17. Margulies, Alf. Die Verba reflexive in den slavischen Sprachen. – Heidelberg, 1924.
18. Yanko-Trinickaya, N.A. Vozvratnihe glagolih v sovremennom russkom yazyhke. – M., 1962.
19. Problemih funkcionalnoj grammatiki. Polevihe strukturih / Ya.Eh. Akhupkina, A.V. Bondarko [i dr.] / отв. ред. А.В. Бондарко, С.А. Шубик. – СПб., 2005.
20. Teoriya funkcionalnoj grammatiki. Personalnostj. Zalogovostj / A.V. Bondarko, T.V. Bulihgina [i dr.] / отв. ред. А.В. Бондарко. – SPb., 1991.

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 821. 161

*Flegentova T.N. THE BLESSING IS A GESTURE OF THE MOTHER IN THE NOVELS F. M. DOSTOEVSKY.* The blessing is a gesture of the mother, loving the son, wishing to protect him. Using the blessing (when mother crosses the son), mother calling the God-father as a part of the whole: the father – mother – the son. In the novel of F. M. Dostoevsky «Teenager» the scene of visiting of Arcady's mother in Tusharov's board has a ring composition. Within the limits of the text of whole novel visual gesture (cross imposing) is accompanied by sound action (cross imposing occurs during sounds of bells). Emblematic pictures of imposing of a cross model a situation of the hero's dream which is developed on the verge of two realities, terrestrial and heavenly. In consciousness of the hero Christmas and Easter events intertwine: the cross becomes a sign of destiny of the hero. «Unstated» (teenager's) Arcady's consciousness in terrestrial existence is consecrated with a parent cross.

**Key words: the blessing, a cross, a situation.**

**Т.Н. Флегентова**, соискатель каф. русской литературы и фольклора Кемеровского государственного университета, г. Кемерово, E-mail: flegen@rambler.ru

## БЛАГОСЛОВЕНИЕ МАТЕРИ В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Наложение креста в виде благословляющего жеста – это жест матери, любящей своего сына, желающей его защитить, поэтому призывающей Бога-отца через крест как часть единого целого: отец – мать – сын. В этой ситуации происходит конструирование исходной: восстанавливаются нарушенные отношения. В связи с этим можно отметить важные обстоятельства: ключевое положение проанализированных сцен, эмоциональное напряжение, охватывающее героев в эти моменты.

**Ключевые слова:** благословение, крест, ситуация.

В современном литературоведении изучение творчества Ф.М. Достоевского занимает одно из ведущих мест и уже имеет свою историю. В целом, наследие писателя осмысливается широко и в различных направлениях.

Осмысление особенностей визуальной поэтики Достоевского в литературоведении началось сравнительно недавно. В настоящее время сложилось представление о том, что Достоевский не только великий писатель, но и великолепный художник, он является «создателем уникального стиля, в котором, несмотря на философско-психологическую доминанту, присутствует плотный визуальный ряд, далеко не всегда выступающий в форме описательных конструкций, но часто выполняющий разнообразные функции – от характеристики персонажей до выявления символического смысла изображаемого» – как отмечает С.Б. Пухачёв [1].

Исследователями предпринимаются попытки воссоздать визуальный механизм восприятия писателем мира (примером может служить статья А.Б. Криницына «О специфике визуального мира у Достоевского и семантике «видений» в романе «Идиот»» [2]). В связи с таким положением дел особую актуальность получает рассмотрение эмблематического строя произведений Достоевского. Так, В.В. Борисова в работе «Эмблематический строй романа Достоевского «Идиот»» указывает на такую черту художественного зрения писателя, «как способность выхватывать из потока действительности идеологически значимые факты и оформлять их в виде некой «картинки», «указания» в духе эмблематической традиции, то есть способность эмблематизировать визуальные образы» [3, с. 102].

Слово «крест» является семантически насыщенным. Для нас на первый план выступает ряд значений. Прежде всего, крест как символ принадлежности человека к определенной вере, как знак освящения чего-либо, например, пищи. Помимо этого крест выступает в роли своеобразного оберега от нечистой силы. Также слово «крест» употребляется в значении наказания и связанных с этим действием страданий, мучений. В произведениях Ф.М. Достоевского все указанные значения актуализированы.

В Пятикнижии последовательно разворачиваются эпизоды, смысловым центром которых становится благословение крестом. В произведениях Ф.М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток», «Бесы») благословляют, как правило, матери сыновей. В «Преступлении и наказании» Пульхерия Александровна крестит Раскольникова в их последнюю встречу перед признанием, Софья Андреевна накладывает крест во сне героя «Подростка», спящего Николая Всеволодовича Ставрогина благословляет Варвара Петровна. Эти ситуации типологически общие: их объединяет то, что участниками действия становятся мать и сын, отношения между которыми основываются на огромной любви со стороны матери. Со стороны сына наблюдается уважение, снисхождение к родительнице.

С этой точки зрения ситуация благословения в тексте романа «Подросток» представлена интересным образом. Особенность представленной сцены состоит в том, что ситуация разворачивается в ирреальном времени, отсылающем в прошлое, в детство ребенка. Детский возраст ребенка становится знаковым в этой сцене.

Эпизод, в котором крест предстает как визуальный знак (один из знаков судьбы героя, проходящего путь испытания крестом) является эпизод сна Аркадия, когда он замерзал после рулетки у Зерщикова. Во сне он видит мать и слышит ее голос: «Ну, господи...ну, господь с тобой... ну, храни тебя ангелы небесные, пречистая мать, Николай-угодник... Господи, господи! – скороговоркой повторяла она все кресты меня, все стараясь чаще и побольше положить крестов» [4, с. 272] «еще раз перекрестила, еще раз прошептала какую-то молитву и вдруг – и вдруг поклонилась и мне точно так же, как наверху Тушарам, – глубоким, медленным, длинным поклоном, – никогда не забуду я этого!» [4, с. 273].

В данном случае актуализируется весь комплекс значений, который закрепился за этим действием: это и родительское благословение, и стремление оберегать ребенка, защитить его от злого влияния других людей, от нечистой силы, от всего того, что может негативно воздействовать на него, отсюда, на наш взгляд, и многократное повторение наложения креста.

В этом же сне нас интересует момент, когда мать Аркадия кладет кресты перед церковью: «Мама повернулась к церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась, губы ее вздрагивали, густой колокол звучно и мерно гудел с колокольни» [4, с. 272]. Обращаясь к этому эпизоду, следует помнить, что колокольный звон, священный звон сопровождает мать во время посещения сына: ее неожиданное появление происходит под твердые удары колокола, прощание на крыльце связано с этими же звуками. Однако здесь мы встречаемся с некоторой на первый взгляд необъяснимой странностью: удары колокола во время встречи сына с матерью точно такие же, как и в момент прощания. Дело в том, что колокол не может звучать одинаково до и после службы. Это связано с функциями, которыекрепились за колокольным звоном.

Сакральная музыка колокола созывает верующих к службе, выражает торжество Церкви и Богослужения, оповещает о времени совершения наиболее важных частей службы. В народном мировоззрении звук колокола имел не только богослужебное значение: им приветствовали особых гостей, собирали народ на вече, объявляли рекрутский набор, сообщали о свадьбе, смерти или казни, предупреждали о приближении врага и пожаре, указывали дорогу путникам, подавали сигналы времени. Существует несколько видов звонов: благовест – одиночные удары в большой колокол, перебор – по одному удару в колокола от малого к большому, перезвон – поочередные удары в колокола от большого к малым и трезвон – несколько одновременно звонящих колоколов.

В тексте романа Ф.М. Достоевского уточняется, что удары колокола были не похожи на набат, звон, означающий какое-то важное событие, а герою слышится плавный звон, что позволяет нам сделать вывод о том, что твердые звуки, которые слышит Аркадий, – благовест, размеренно возвещающий о начале службы. Считается, что это самый древний из звонов и назван так потому, что несет благую весть о начале Богослужения. По нашему мнению, благовест, сопровождающий Софью Андреевну, открывает дополнительные смыслы анализируемой сцены. Тем самым делается акцент на том, что приезд матери не только событие бытий-

ного уровня («не набат»), но и иного порядка. Таким образом, можно объяснить расхождения между внешними поступками героев, которые порой носят явно демонстративный характер, с тем внутренним, что их роднит и связывает: маленький Аркаша «тотчас» узнает свою родительницу.

Таким образом, в романе «Подросток» сцена посещения матери Аркадия в пансионе Тушаров имеет кольцевую композицию. В рамках целостного текста визуальный жест (наложение креста) сопровождается аудиальным действием (наложение креста происходит под звуки колоколов). Эмблематические картины наложения креста моделируют ситуацию сна героя, которая разворачивается на грани двух реальностей, земной и небесной: начальная ситуация – Аркадий засыпает на святой «зимней неделе», событие сна – приезд матери – приходится на «весеннюю», так дистанция перестает существовать. В сознании героя переплетаются события Рождества и Пасхи: крест становится знаком судьбы героя. «Неустановленное» (подросток) сознание Аркадия в земном существовании освящается материнским крестом.

Визуальный строй романов Достоевского предполагает обращение к основным функциональным типам крестов. Во многих эпизодах крест выступает как внетекстовая реальность, символический смысл которой понятен каждому христианину (православному) и не нуждается в более подробном (глубоком) истолковании.

Так, например, в романе «Преступление и наказание» словообраз «крест» возникает во сне Раскольникова, в котором герой видит себя семилетним мальчиком, идущим с отцом, и в котором маленький герой вспоминает про свою умершую бабушку: «*При этом всегда они брали с собой кутью на белом блюде, а кутья была сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом*» [5, с. 46]. Кутьей называется ритуальная каша, сваренная из ячменя, пшеницы, либо из риса, приносимая в церковь при поминках и подаваемая за упокойным столом. Принимая во внимание это значение, можно говорить о том, что кутья обладает своим особой сакральной семантикой и специализированными функциями. Выложенный из рису крест подчеркивает это. Прежде всего, он является элементом, свидетельствующим об известном предназначении этой пищи, то есть то, что она приготовлена для поминания умерших. В то же время он выступает и как символ освящения ее, и одновременно сигнализирует о том, что каша имеет большую связь с миром ирреальным (потусторонним), нежели действительным.

Этот сон Раскольникова ценен тем, что дает читателю дополнительные сведения о формировании характера героя. Особое место в нем занимает описание пространства: «*Местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне*» [5, с. 46]. Описанное пространство дает нам возможность восстановить целостную картину. Город, в котором прошло детство маленького Родиона, небольшой, открытый («как на ладони»), только «на самом краю неба чернеется лесок» [5, с. 46]. Всегда черная пыль покрывает дорогу возле большого кабака, «*всегда производившего на него неприятнейшее впечатление*» [5, с. 46]. Дорога огибает вправо городское кладбище, в центре которого стояла каменная церковь с зеленым куполом, которую он любил, и «старинные в ней образа, большую частью без окладов и старого священника с дрожащею головой» [5, с. 46].

Сознание героя отмечает общую пространственную схему: город и вдалеке лес. В более конкретную перспективу введены три значимых точки, объединенных одной дорогой: кабак, кладбище и церковь (причем, две последние находятся на одной территории). По существующей традиции кабаки и церковь воспринимаются как локусы, противопоставленные друг другу (кто не попадает в церковь, тот попадает в кабак), это подчеркивается отношением Раскольникова: кабак с его пьяными нагоняет на него страх, заставляет дро-

жать, а церковь со старым священником вызывает прямо противоположное чувство – любовь.

Из сна становится известно важное обстоятельство из истории семьи Раскольниковых: «*Подле бабушкиной могилки, на которой была плита, была и маленькая могила его меньшого брата, умершего шести месяцев и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить... и он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее*» [5, с. 46]. Потеря для семьи второго сына обрушивается на плечи маленького мальчика, он становится единственным источником надежд и радости для родителей, вместе с ними на него накладывается и непрожитая жизнь младшего брата. Этот груз станет весомей после смерти отца, когда Раскольников останется главным мужчиной в семье со всеми налагающимися обязанностями.

Неоднократно во многих работах исследователей творчества Ф.М. Достоевского подчеркивалось значение слова «вдруг», довольно частотное на страницах его романов. На наш взгляд, эти «вдруг» – ситуации не являются в романном мире Достоевского обособленными. Напротив, они образуют оппозицию к слову «всегда», не столь частотному, однако имеющему такое же по степени важности функциональное значение. Соответственно «всегда» становится знаком длительного, постоянного, постепенно сменяющегося времени и внутренних состояний.

Противоположное слову «вдруг» (всегда) встречается в произведениях писателя реже, поэтому его неоднократное употребление в обозначенной сцене мы не считаем случайным. Будучи маленьким мальчиком Раскольников с отцом и с матерью ходили в церковь «*раз два в год*» [5, с. 46], но это событие повторялось ежегодно, что позволяет говорить, с одной стороны, о норме жизни в семье Раскольниковых, с другой, – о норме как таковой (т.е. о вечности обрядового действия – поминовение усопших в четко установленные дни – три родительские субботы). Примечательно здесь то, что Родион воспитывался в вере, соблюдал установленные обряды, иными словами, был по-настоящему связан с церковью, с ее заветами, и это говорит о том, что событие отклонения, отхода от христианской веры, от Бога у героя происходит тогда, когда он находится во взрослом состоянии.

Замечательно, что в тексте даны следы религиозного воспитания: мать Раскольникова в конце своего письма настойчиво спрашивает его о том, молится ли он Богу, верит ли он по-прежнему в благость Творца и Искупителя, при этом отсылая память Раскольникова в его детские годы, когда он «*в детстве своем, при жизни <...> отца, <...> лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы*» [5, с. 34]. Материнское сердце подсказывает Пульхерии Александровне то, что с ее сыном не все благополучно, что его настигло безверие, и она молится за него.

Два отрезка жизни Раскольникова можно противопоставить друг другу: детство – это «всегда», взрослость – это «вдруг», переход из одного состояния в другое связано с перемещением героя из пространства городка в Петербург, а в целом – с отрывом от родных мест и близких людей. Другой (обратный) переход начнется в эпилоге романа. Перед читателем «*с высокого берега откроется широкая степь*» [5, с. 421], а на Соне в тот момент будет «*бедный, старый бурнус и зеленый платок*» [5, с. 421]. В «Преступлении и наказании» убийственному Петербургу противопоставлено открытое пространство городка детства героя и степь каторги.

Таким образом, сон Раскольникова представляет жизнь героя, изначально правильно ориентированную на вечные ценности, позволяет восстановить некоторые биографические моменты и объяснить «переворот», происшедший в сознании Родиона Романовича, известным образом повлиявший на него в дальнейшем. Поэтому неслучайно появление креста, который постепенно становится знаком судьбы героя.



## Библиографический список

1. Пухачёв, С.Б. Поэтика жеста Ф.М. Достоевский (на материале романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»): дис. ... канд. филол. наук. – Великий Новгород, 2006.
2. Криницын, А.Б. О специфике визуального мира у Достоевского и семантике «видений» в романе «Идиот» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. – М., 2001.
3. Борисова, В.В. Эмблематический строй романа Достоевского «Идиот» // Достоевский. Материалы и исследования. – СПб., 2005. – Т. 17.
4. Достоевский, Ф.М. Собр. соч.: в 30 т. Подросток. – Л., 1975. – Т. 13.
5. Достоевский, Ф.М. Собрание сочинений: в 30 т. Преступление и наказание. – Л., 1973. – Т. 6.

## Bibliography

1. Pukhachyov, S.B. Poehtika zhesta F.M. Dostoevskiyj (na materiale romanov «Prestuplenie i nakazanie», «Idiot», «Besih», «Podrostok», «Bratija Karamazovih»): dis. ... kand. filol. nauk. – Velikiy Novgorod, 2006.
2. Krinichin, A.B. O specifike vizualnogo mira u Dostoevskogo i semantike «videniyj» v romane «Idiot» // Roman F.M. Dostoevskogo «Idiot»: sovremennoe sostoyanie izucheniya. – M., 2001.
3. Borisova, V.V. Ehblematicheskij stroj romana Dostoevskogo «Idiot» // Dostoevskiyj. Materiali i issledovaniya. – Spb., 2005. – T. 17.
4. Dostoevskiyj, F.M. Sobr. soch.: v 30 t. Podrostok. – L., 1975. – T. 13.
5. Dostoevskiyj, F.M. Sbranie sochinenij: v 30 t. Prestuplenie i nakazanie. – L., 1973. – T. 6.

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 882 (09)

**Zhestkova E.A. THE EPOCH OF IVAN THE TERRIBLE IN THE DESCRIPTION N.M. KARAMZIN'S AND A.K. TOLSTOY'S WORKS.** In this article the author says about the influence of N.M. Karamzin's historical concept on A.K. Tolstoy's creative regard. The artistic methods that Karamzin and Tolstoy used to reveal the internal state of Ivan the Terrible are being analyzed in this work too.

**Key words:** monarch, Orthodox concept, the evolution of the character, consciousness, psychological peculiarities, moral freedom of a person.

**E.A. Жесткова, канд. филол. наук, доц. АГПИ им. А.П. Гайдара, E-mail: ezhestkova@mail.ru**

## ЭПОХА ИОАННА ГРОЗНОГО В ИЗОБРАЖЕНИИ Н.М. КАРАМЗИНА И А.К. ТОЛСТОГО

В статье рассматривается вопрос о влиянии исторической концепции Н.М. Карамзина на творческий взгляд А.К. Толстого, анализируются художественные приемы, которые используют Карамзин и Толстой для раскрытия внутреннего состояния Иоанна Грозного.

**Ключевые слова:** монарх, православная концепция, эволюция характера, сознание, психологические особенности, нравственная свобода человека.

«Это злободневно, как свежая газета» [1, с. 135], – восторженно отзывался об «Истории государства Российского» А.С. Пушкин, особенно нетерпеливо ожидавший выхода в свет девятого тома, посвященного правлению Иоанна Грозного. Страстное и художественно убедительное изображение жестокого царя не оставило равнодушным практически никого из читателей: история стала одним из способов познания современности. Проблемы власти и личности, закона и произвола объясняют повышенный интерес к личности Иоанна IV.

В романе А.К. Толстого «Князь Серебряный» отчетливо прослеживается связь с «Историей государства Российского» Н.М. Карамзина. Писатель заимствовал не только общую фактическую канву, но и отдельные эпизоды, в ряде случаев включая в свое повествование лишь незначительно измененный текст многотомного сочинения, а также ввел множество конкретных исторических лиц, что свидетельствует о его стремлении к достоверности и документальности изображения, продемонстрировал достаточно серьезное знание предмета художественного изображения – времени царствования Иоанна IV.

Как и для Карамзина, для Толстого история сохраняла свой этический смысл. Писатель так же, как и историк, считал, что представления о человеческом процессе немыслимы без сохранения национальных начал, связанных с неизменным нравственным комплексом, и определяющих нравственных норм. Так, автор «Истории государства Российского» был убежден в восходящем прогрессивном развитии движения, лежащем в основе мировой истории. При этом он понимал идею прогресса как неуклонное движение челове-

чества вперед – от низшего к высшему, как переход на более высокие ступени развития, изменение к лучшему. Его вера в прогресс была, по сути отражением просветительских воззрений XVIII века, хотя, бесспорно, Карамзин унаследовал от христианства его веру в единство исторического развития. Толстой также приходит к пониманию причинно-следственных связей в цепи исторических событий: настоящее, в его представлении, обусловлено прошлым и создает предпосылки для дальнейшей событийности. Однако если для Карамзина мечта об идеальном обществе связана с будущим и является результатом постепенного совершенствования человека и человечества в целом, то А.К. Толстой считает возможным и необходимым возвращение к исходному этическому статусу Древней Руси, которая, по мнению писателя, выступает носителем прав, свобод и культурных ценностей, созданных христианским прошлым. История России, с точки зрения Толстого, представляет постепенный отход от этих норм, с одной стороны, и безуспешные попытки возвращения к ним – с другой. Общественные противоречия, вызванные всеобщим духовным упадком, по мнению писателя, чреватые возможностью государственной катастрофы, возвращающей национальное самосознание к комплексу забытых христианских ценностей как единственному источнику спасения. Таким образом, столкновение необратимости исторической динамики и этической статики в исторической концепции Толстого сформировало теорию циклического развития, в свете которой действительность предстает и вечно удаляющейся от идеала, и приближающейся к ней.

Одной из центральных проблем, на которой сфокусировано внимание обоих авторов, являлся вопрос о соотноше-

нии закона (государства) и свободы человека. Н.М. Карамзин во многом придерживался концепции просветительского эгалитаризма. Но в то же время был убежден, что монарх, в соответствии с православной концепцией власти, действует не по формальному праву (закону), а по «единой совести»: «Нет противоречия, — пишет Карамзин, — и все справедливо в делах Божества: ибо русские уверены, что Великий Князь есть исполнитель воли небесной. Обыкновенное слово их: так угодно Богу и Государю; ведают Бог и Государь» [2, с. 93]. Волю самодержца, основанную на силе традиции, православной нравственности историк признавал «живым законом. При этом Н.М. Карамзин высоко ценил свободу, но свободу внутреннюю, духовную. Что же касается политических прав, то автор «Истории» полагал допустимым их ограничение в определенные периоды во имя интересов государства, делал акцент на гражданском долге.

А.К. Толстой со свойственным романтикам акцентом на роли человеческой личности в истории считал, что личные пороки государя — большое искушение для его подданных. Как православный историк, А.К. Толстой оценивал происходящее с христианской точки зрения. Поэтому одним из необходимых условий справедливого государственного устройства писатель считал развитое народное самосознание, призванное уравнивать политическую и остальные сферы. Однако, представляя государство инструментом Божественного Провидения, писатель умалял его неморальный характер.

В романе «Князь Серебряный» показана драма личности, структура ее сознания, раскрыты психологические особенности характера Иоанна Грозного. Герой изображен в психологическом развитии. Однако картина этой эволюции создается пунктиром, по ходу нарратива, и она менее важна для автора, чем создание многомерного, многопланового образа Ивана Грозного [3, с. 72]. Художественное воплощение личности царя совершается в свете религиозно-мистической концепции Помазанника Божьего, которая во многом объясняет противоречивые обстоятельства правления Иоанна. Его образ возникает на скрещении различных оценок деятельности Иоанна IV (их воплощением являются точки зрения самого царя, окружающих, автора). В итоге характер Грозного не совпадает с его образом в целом. Образ оказывается шире социально-психологических и бытовых рамок, включает в себя сверх того и особый невыясненный смысловой потенциал. Он вырастает из многозначности конкретных деталей, из сочетания разноплановых мотивировок, что наиболее характерно для ранней стадии развития реализма. Но эти особенности отличают только образ Грозного, поэтому он фактически заслонил все остальные персонажи.

Говоря о нравственной свободе человека, писатель заявляет, что перемена в делах и характерах происходит не только из-за его природных свойств, а также под влиянием различных обстоятельств. Автор романа, рассматривая образ Иоанна, пытается понять, что могло повлиять на любимого, обожаемого всеми государя и низвергнуть его в «бездну ужасов тиранства».

В анализе обстоятельств, вызвавших перерождение «царя правды, блага, славы» в мучителя, упор писателя сделан на раскрытии подлой роли «новых любимцев государевых», готовых на все для удовлетворения своего честолюбия. Эти «клеветники», улучив момент, вкрались в душу царя хвастливым усердием исполнять, предупреждать его волю: «А новые-то люди обрадовались, да и давай ему [Ивану Васильевичу — Е.Ж.] шептать на бояр, кто по-насердке, кто чая себе милости, и ко всем стал он приклонять слух свой... И в том они, окаянные, не бояся Страшного суда божия, и крест накриве целовали, и руки в письмах лживили! Много безвинных людей вожено в темницы... Кто только хотел, тот и сказывал за собою государеву слово... Такой ужас от царя, какого искони еще не видано!» [4, с. 66].

Автор делает акцент и на изменении внешнего вида, порожденном необузданностью и пагубностью страстей мо-

нарха: «Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок» [4, с. 80]. «С лица царя исчезло все человеческое» [4, с. 116]. Выражение его лица напоминало сгоревшее здание: «Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе» [4, с. 116].

В романе Иоанна Грозного мучают сомнения; голос совести неумолимо тревожит душу, герой признается в неправедности своих государственных деяний, поэтому в его речах и поступках прорываются покаянные мотивы: «...проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видят все; она красна, всякому бросается в глаза; а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают мне на душу, но, словно смола горячая, проедают, прожигают ее насквозь по вся дни!» [4, с. 98]. Однако «проливая кровь и заставляя всех трепетать, хотел вместе с тем, чтоб его считали справедливым и даже милосердным; душегубства его были всегда облечены в наружность строгого правосудия, и доверие к его великодушию тем более льстило ему, что такое доверие редко проявлялось» [4, с. 291].

Противоречивость натуры Иоанна Грозного ставила перед писателем ряд существенных вопросов: религиозен ли герой в полной мере, либо его вера — фарс, помогающий управлять подданными, а также оправдывать беззакония, деспотизм. Толстой умышленно не избегает в своем произведении описания поступков героя, характеризующих неоднозначность, двоякость его личности. Автор обращает наше внимание на то, что спокойный взгляд царя не всегда свидетельствовал о его внутренней безмятежности. Царь, одаренный редкой пронизательностью, «любил иногда обманывать расчеты того, с кем разговаривал, и поражать его неожиданным проявлением гнева в то самое время, когда он надеялся на милость» [4, с. 290].

В романе Толстой рассказывает о ревностной деятельности в правлении Иоанна IV, акцентируя внимание читателя на том, как царь с молитвой ко Всевышнему, со словами любви, терпения, искренности и великодушием обращается к народу, взывая его умиление и поддержку: «Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему Господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту» [4, с. 99], «уже пот катился с лица его; уже кровавые знаки, напечатленные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов» [4, с. 105]. Далее читаем: «Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз представляло ему картину будущего возмездия, но сила воли одолевала страх загробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызения совести возбуждаемы в нем врагом рода человеческого, чтоб отвлечь помазанника Божия от высоких его начинаний» [4, с. 106]. Грозный стремится верою утвердить перемену в правлении и в своем сердце, он показан человеком, который чтит Законы Мироздателя, умиленно каясь в своих грехах.

Толстой обращает внимание на описание царской опочивальни, в которой стояли две кровати: «одна, из голых досок, на которой Иван Васильевич ложился для наказания плоти, в минуты душевных тревог и сердечного раскаянья; другая, более широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховиком и шелковыми подушками. На этой царь отдыхал, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случилось редко» [4, с. 289].

В то же время Толстой вслед за Карамзиным обвиняет Иоанна в глумлении над «церковью Христовою», в том, что он «хотел даже обратить дворец в монастырь, любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал братиею, себя игуменом ..., дал им тафьи,

или скуфейки, и черные рясы, ... сочинил для них устав монашеский... в четвертом часу утра он ходил на колокольню... - благовестить к Заутрене...» [2, с. 304]. В словах автора содержится укор безрассудству Иоаннова поведения: «Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убийцей и сыромядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по убитым» [4, с. 67]. Толстого, как и Карамзина, пугают «затейливые повороты» ума героя. Поведение царя не поддается никакому объяснению: «...пишет государь, что яде от великой жалости сердце, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де, куда бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль по Москве: «Бросил нас батюшка-царь!»...прошло недели три, прибыл Иван Васильич на Москву...принимая государство, чтобы казнить моих злодеев» [4, с. 68].

С болью писатель рассказывает о трапезах в монастыре: когда братья «ели и пили досыта», царь читал «вслух душеспасительные наставления».

Карамзин отмечает, что Иоанн Грозный изъясняет «усердие ко благу церкви», что «обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым перед Богом». Автор «Истории» обращает внимание на то, что Иоанн ходил пешком зимою в Троице-Сергиеву Лавру, проводил там первую неделю Великого поста, «ежедневно моляся над гробом Святого Сергия» [2, с. 187]. Однако его набожность не сдерживает кровожадные инстинкты царя, не может «укротить его пылкой, беспокойной души, стремительной, приученной к шумной праздности, к забавам... неблагочинным» [2, с. 187]. Иоанн «любил показывать себя царем» «в наказаниях, в необузданности прихотей»; «играл, так сказать, милостями и опалами» [2, с. 187].

На фоне образа Иоанна особое значение принимают и похождения разбойных казаков во главе с атаманом Ермаком, Иваном Кольцо, Яковом Михайловым и другими. «Вольные люди» завоевывают Сибирские земли, устраняя угрозу со стороны сибирских татар. Интересно, что Ермак в определенном смысле антипод Иоанна IV: умный, грозный, сильный воитель, строгий судья недобросовестных, следовавших за богопослушностью своего войска, милостивый к побежденным. Практически, если принять версию о «народном»

происхождении Ермака, перед нами – противоположность Грозному. Более того, Толстой, беря за основу позицию Карамзина, размышляет над вопросом: почему, завоевав Сибирь, Ермак сам не стал Царем Сибирским? Во-первых, малочисленность войска и необходимость сильной помощи; во-вторых, незавершенность завоевания: «Ермак опасался прежде временно хвастаться в России успехом» [2, с. 234]. И все же, опираясь на документ, останавливается на следующем: «бедные, опальные казаки, угрызаемые совестью, исполненные раскаянием, шли на смерть и присоединили знаменитую Державу к России, во имя Христа и Великого Государя» [2, с. 23]. Следовательно, казаками также движет инстинктивное осознание необходимости самодержавия.

Толстой усиливает противоречия и сложности внутреннего мира героя. Государь преступает границы разумного в своей тирании. Ответственность за кровавую эпоху, по мнению автора, лежит не только на Иоанне, но и на тех, кто терпел его деспотизм, тем самым примиряясь с ним и питая его. Тиранство и рабство взаимосвязаны и каузальны по отношению друг к другу [5, с. 216]. Народ покорился Грозному царю. В изображении писателей народ предстает с самого начала как единство, подвластное Грозному. По мере отделения царя от своего истинного предназначения народ все также почитает власть становления Провидения. «Таков был Царь, таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, ибо считали власть Государеву властью Божественною и всякое сопротивление беззаконием; приписывали тиранство Иоанново гневу Небесному и каялись в грехах своих...», – пишет в «Истории» Карамзин [2, с. 307]. И здесь Толстой явно не согласен с Карамзиным: испытание русской землей не пройдено, так как слепое повиновение – лишь условие для тирании.

В «Истории» Карамзина и «Князе Серебряном» Толстого мы обнаруживаем важнейшие черты личности государя: жесткость, лицемерное стремление примирить христианское учение с собственной кровожадностью; страх и недоверчивость по отношению даже к своим приближенным; нечистую совесть. Из этих черт складывается единый портрет нравственно-психологического вырождения Грозного.

#### Библиографический список

1. Пушкин, А.С. Письмо В.А. Жуковскому // Полное собрание сочинений: в 10 т. – Л., 1979. – Т. 10.
2. Карамзин, Н.М. История государства Российского: в 12 т. – М., 2001. – Т. I.
3. Никульшина, Е.В. Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» в историко-литературном контексте первой половины XIX века: дис. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2002.
4. Толстой, А.К. Князь Серебряный. – М., 1976.
5. Федоров, А.В. Эпоха Иоанна Грозного в изображении М.Ю. Лермонтова и А.К. Толстого // Лермонтовский выпуск: материалы Международной научной конференции «Изучение творчества М.Ю. Лермонтова на современном этапе». – Пенза, 2004.

#### Bibliography

1. Pushkin, A.S. Pis'mo V.A. Zhukovskomu // Polnoe sobranie sochineniy: v 10 t. – L., 1979. – T. 10.
2. Karamzin, N.M. Istoriya gosudarstva Rossiyskogo: v 12 t. – M., 2001. – T. I.
3. Nikul'shina, E.V. Roman A.K. Tolstogo «Knyaz' Serebryaniy» v istoriko-literaturnom kontekste pervoy poloviny XIX veka: dis. ... kand. filol. nauk. – Volgograd, 2002.
4. Tolstoy, A.K. Knyaz' Serebryaniy. – M., 1976.
5. Fedorov, A.V. Ehpokha Ioanna Groznogo v izobrazhenii M.Yu. Lermontova i A.K. Tolstogo // Lermontovskiy vihpusk: materialih Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii «Izuchenie tvorchestva M.Yu. Lermontova na sovremennom etape». – Penza, 2004.

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 82. 091

*Gorutskaja N.V. MORTAL MOTIVES IN LYRIC POETRY OF ELDER SYMBOLISTS (D. MEREZKOVSKY, K. BALMONT, F. SOLOGUB, V. BRUSOV).* The author of the article researches the nature of mortal motives in artistic creations of symbol poets Mereshkovsky, Balmont, Sologub, Brusov. The analysis of lyric texts can conclude from them that the main characteristics of life and poetic atmosphere were loneliness, weakness, discouragement, tiredness and melancholy.

*Key words:* symbolism, decadence, mortal motives, languor, despondency, dying, melancholy.

**Н.В. Горюцкая**, ст. преп. каф. культурологии Омского государственного педагогического университета, г. Омск, E-mail: gorutskaja@mail.ru

## МОРТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ СТАРШИХ СИМВОЛИСТОВ (Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ, К. БАЛЬМОНТ, Ф. СОЛОГУБ, В. БРЮСОВ)

В работе автор исследует природу мортальных мотивов в творчестве поэтов-символистов: Мережковского, Бальмонта, Сологуба, Брюсова. Анализ лирических текстов позволяет сделать вывод о том, что основными чертами жизненной и поэтической атмосферы рубежа веков стали одиночество, бессилие, уныние, усталость и тоска.

**Ключевые слова:** символизм, декаданс, мортальные мотивы, томление, уныние, угасание, тоска.

Мотивы смерти стали для русской литературы опознавательным знаком декадентских творений начала XX века. Огромную роль в появлении мортальных мотивов сыграло наследие французских поэтов, таких как Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, и в целом танатологическая направленность европейской культуры «fin de siècle» (конца века) нашла свое отражение в русском символизме, в творчестве его старших представителей: Д. Мережковского, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, В. Брюсова и многих других. Но в отличие от французских предшественников мифология смерти у символистов в России не ограничена простым заимствованием, она имеет, прежде всего, национальные истоки. Тема смерти в русской поэзии конца XIX – начала XX вв. во многом обусловлена изживанием дворянской культуры в России. Мироощущение человека в этот исторический момент времени определяет мысль о том, что старый уклад жизни ушел безвозвратно. Это мироощущение В. Брюсов воспроизводит в поэме «Мир» 1903 года: «Я помню этот мир, утраченный мной с детства // Как сон непонятый и прерванный как бред... // Я берегу его – единое наследство // Мной пережитых и забытых лет» [1, с. 304].

Первым эстетическим манифестом символизма в России стала лекция, прочитанная Д. Мережковским в 1892 году: «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», в которой выдвигается требование к современной ему литературе – требование в ней «мистического содержания». Этому «мистическому содержанию» поэты-символисты подчиняют все свое творчество. Следует вспомнить о том, что сенсуализм, мистицизм русских символистов укоренен в традиции немецкого романтизма. Так, В. Жирмунский заметил, что мистицизм XX века унаследовал от немецкого романтизма «интеллектуальную интуицию» [2], т.е. восприятие Божества через экстаз, а также острое упование и жизнью, и любовью, и смертью как единым процессом, вневременным и вечным. В мортальных мотивах встречается желание и устремление к «запредельному», к сфере смерти. Как признание звучат строки из стихотворения «Прости!» Н. Минского: «Увидеть смерть надежд своих, / <...> Все пережить их до единой / И лепесток за лепестком / Ронять, когда весь мир кругом, / Томиться медленной кончиной» [3, с. 107]. И. Анненский в статье «Символы красоты у русских писателей» приходит к заключению, «*ничто* из *ничто* обращается в *нечто*: у него оказывается власть, красота и свой таинственный смысл [курсив И. Анненского]» [4, с. 129].

Свое видение мира Д. Мережковский наиболее отчетливо выразил в стихотворении «Дети ночи». Здесь поэт – провозвестник красоты и тайны, всего «неведомого»: «Мы неведомое чужом / И, с надеждою в сердцах, / Умирая, мы тоскуем / О несозданных мирах. / <...> Наши гимны – наши стоны; / Мы для новой красоты / Нарушаем все законы, / Преступаем все черты» [5, с. 470].

Тоска и томление в земной жизни, исчерпанность и одиночество человека в мире – вот постоянные мотивы лирики Мережковского. Он, как отмечает А. Долинина, «еще и подчеркивает свою нелюбовь, а то и презрение к людям, к жизни, к нашим обычным ценностям, к нашему добру и злу» [6, с. 284]. Положение поэта в мире – это положение созерцающей жизни, зрителя. Поэта очаровывает и завораживает не молодость, не юность, а старость. Состояния увядания, уга-

сания привлекают поэта не только в жизни, но и в природе. Стихи об осени, опавших листьях, умирающих месяце иллюстрируют эту идею («Осенние листья», «Осенью в Летнем саду», «Ноябрь» и др.). Поэт призывает смерть, он желает смерти, он радуется ей: «Погибший день, ты был ничтожен / И пуст, и мелочно тревожен; / За что ж на тихий твой конец / Самой природой возложен / Такой блистательный венец?» [7, 143]. В последней строчке этого стихотворения можно было бы с легкостью поставить не вопросительный знак, а восклицательный. Этот «блистательный венец» для него желанный. Смерть мыслится Мережковским как отдых одинокой измученной, усталой, истерзанной противоречиями души.

Современники Д. Мережковского воспринимали его как личность эсхатологическую, которая и свое поколение воспринимает эсхатологически. Поэтому Смерть для него – необходимое условие для новой жизни, для нового рождения. Поэт верит в возможность появления «нового Орфея», способного найти «обратный путь – от мертвых к живым» [8, с. 56].

Сумеречная депрессивность, царящая в общественном сознании 1890-х годов, нашла яркое воплощение и в поэзии К. Бальмонта. Мотивы уныния, усталости, бегства от жизни становятся доминантой его поэтического мира: «Заводь спит. Молчит вода зеркальная. / Только там, где дремлют камыши, / Чья-то песня слышится, печальна, / Как последний вздох души». [9, с. 98]. Поэт мало интересуется современной ему действительностью, бытие для него лишь тень, «вечный сон», т.е. смерть. Он сопоставляет действительность с «болотной глушью», с «царством мертвого бессильного молчания», с «пустыней», где томиться душа его лирического героя. Поэт признается: «я ненавижу человечество, я от него бегу спеша», «я в бегстве живу неустанном». Традиционный для романтизма мотив корабля как выражение мятежности души занимает в лирике Бальмонта ведущее место. Поэма «Мертвые корабли» (сб. «Тишина») продолжает заявленную в первом сборнике поэта тему корабля мятежа в морской стихии. Мы отчетливо слышим голос кораблей, ищущих новых островов счастья: «Нам ветер бездомный шепнул в полусне, / Что сбудутся наши надежды: / Для нового солнца, в цветущей стране, / Проснувшись, откроем мы вежды» [9, с. 114]. Но несущиеся в мир мечты, «в безвестность» корабли оказываются обречены на гибель в морской пучине. Пейзаж, который развертывается дальше по ходу поэмы, говорит о безвыходности, о крушении возможности счастья: «И шепчут волны меж собой, / Что дальше их пускать не надо, - / И встала белою толпой / Снегов и льдистых глыб громада» [9, с. 116].

Что же составляет ценность в поэтическом мире Бальмонта? Ответ на этот вопрос находим в следующих строках: «Я не зная мудрости, годной для других, / Только мимолетности я влагаю стих. / В каждой мимолетности вижу я миры, / Полные изменчивой радужной игры» [9, с. 281]. Миг – вот что может составить полноту бытия художника. За эту зыбкость и изменчивость поэтического мира Ю. Айхенвальд назвал Бальмонта «поэтом воздуха» [10]. Поэт творит свою философию мига: воссоздавая стремительный поток мгновенных ощущений и раздумий, он утверждает относительность Добра и Зла.

Экстенсивное освоение жизни приводит поэта к отказу от пассивного созерцания к дерзновению за грань дозволенного. В этом видится увлечение художника идеей Сверхчеловека Ф. Ницше. Читая публичку тех лет шокировало его нескромное заявление, сделанное в духе Ш. Бодлера: «Чтоб видеть высоту, я падаю на дно». Апофеозом такой душевной раздвоенности Бальмонта стал сборник «Горящие здания», по поводу которого А. Белый писал: «Мутные волны хаоса, отливающие красным заревом, иступленные крики замерзающих в холоде безбрежности..., уродливые пороки излома – вот что неожиданно поражает в «Горящих зданиях»» [11, с. 402]. Сам же Бальмонт, определяя настроение своего сборника, в письме Льву Толстому откровенно признавался: «Эта книга – сплошной крик души разорванной и, если хотите, убогой, уродливой. Но я не откажусь ни от одной страницы, и – пока – люблю уродство не меньше, чем гармонию» [12, с. 122]. В.С. Соловьев в статье «Три речи в память Достоевского» писал: «Прежде искусство отвлекало человека от той тьмы и злобы, которые господствуют в мире <...> теперешнее искусство, напротив, привлекает человека к тьме и злобе житейским с неясным иногда желанием просветить эту тьму, умирить эту злобу» [13, с. 173]. Вот и взор Бальмонта ищет доброе в злом, красоту в смерти.

Таким образом, ощущение катастрофичности, неблагополучия мира окрашивает весь мотивный комплекс бальмонтовской лирики. В. Брюсов верно отмечал, что «миросозерцание Бальмонта – бессознательный дуализм и в борьбе Зла и Добра, дьявола и бога, должна она неизбежно изнемогать» [14, с. 263]. Балансирование между крайностями, отказ от сближения с жизнью – следствие неутоленной боли его разорванной души. Результат всего: крайняя степень одиночества: А. Белый восклицает о поэте: «Бедный Бальмонт, бедное, одиноко в пространстве ночи закинутое дитя!» [15, с. 407].

В русле декадентских умонастроений развивалось и творчество Ф. Сологуба (Ф. К. Тетерникова). Современная поэту критика неизменно отмечала его холодность и тяготение к эстетизации смерти. За ним закрепилась слава декадента, маньяка, садиста, смертяшкина. Ю. Айхенвальд назвал Сологуба «поэтом небожью мира», «жрецом предустановленной дисгармонии» [16, с. 75]. Как и его единомышленники Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др., Сологуб наследует субъективизм, тягостное переживание усталости, отвращение к жизни, эротическую эстетизацию, поэтизацию смерти от «проклятых поэтов», но создает при этом свою оригинальную концепцию мира.

В статье «Символы красоты у русских писателей» И. Анненский писал: «Нигде трагическая роль поэзии не обнаруживается с такой яркостью, как именно в изображениях муки» [17, с. 129]. Эти слова можно применить и к поэзии Ф. Сологуба. Картины современной поэту действительности наполнены мукой и ядом декадентского миропонимания. Безжалостно обнажает Сологуб перед читателем свою душу и свои переживания. Он показывает тайные изъяны внутреннего мира, скрытые от посторонних взоров, вдруг вырвавшиеся из плена условностей, которыми полна повседневная жизнь, и подчинили себе все существо обывателя: «Лихо ко мне прижимается, шепчет мне тихо: / «Я – бесталанное, всеми гонимое Лихо! / <...> / Только тебе побороться со мной недосужно, – / Странно мечтая, стремишься ты к мукам. / Вот почему я с твоею душою так дружно, / Как отголосок со звуком. [18, с. 112]. Созданный Сологубом образ таинственного существа – безликого Лихо – нечто иное как олицетворение пустоты жизни. Лирический герой устал «брести житейскою пустыней». Жизнь активна в прошлом, она противостоит будущему пассивному умиранию. Это ведет к тому, что грань между прошлым и будущим, между жизнью и смертью исчезает, благодаря размывающему эту противоположность постоянному усталости. Поток времени делает неразличимым начало и конец; младенчество и старость оказываются уравнены друг с другом. Пассивность становится признаком самой жизни, а жизнь – созревaniem смерти: «Мы устали пре-

следовать цели, / На работу затрачивать силы, / Мы созрели / Для могилы» [18, с. 139].

Интересно наблюдение Вл. Ходасевича, сделанное над лирикой Ф. Сологуба: «Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если видит, то страшные или злые (курсив мой – Н.Г.)» [19, с. 114]. Он видит, как быт – «жизни будничной томительные узы» – калечит людей, искажает их чувства. По убеждению поэта, мир перевернулся, и там, где раньше была жизнь, теперь смерть. Зло мыслится не только как социальное явление, оно проникло внутрь человека, оно – результат греховности человека. Как замечает С. Булгаков: «Смерть вошла в мир путем греха, который разрушил устойчивость человеческого существования...» [20, с. 273]. Сологуб видит в этом разрушении не столько гибель телесной оболочки, скрывающей жаждущую пробуждения душу, сколько гибель самой души. Поэтому единственный выход, который видит поэт, – отречься от жизни и тем самым спасти омертвевший в земных скитаниях дух. Смерть мыслится Сологубом как уход от злой и уродливой жизни («О, владычица смерть, я роптал на тебя...», 1897; «Воля к жизни, воля к счастью, где ж ты?», 1901; один из разделов сб. «Пламенный круг» получил заглавие «Сеть смерти»). Смерть для него и потому желанна, что, как верно подметил С. Булгаков, «за гранью смерти следует откровение земной жизни как начало нового бытия...» [20, с. 290]. Сологуб восклицает: «Подруга – смерть, не замедляй, / Разрушь порочную природу, / И мне опять мою свободу / Для созидания отдай» [18, с. 281].

Эстетические взгляды В. Брюсова следовало бы охарактеризовать как поэтическую формулу, выдвинутую им самим: «Я действительности нашей не вижу». Брюсов в это время, как и большинство символистов находился в оппозиции к современности. Разрабатывая тему города, Брюсову как настоящему художнику удалось передать давящую силу социальной жизни.

В городском пейзаже поэт видит неподвижные, незаконченные здания, мертвые дома, похожие на темницу. Брюсов описывает людей, живущих в этом городе: «Мы к ярким краскам не привыкли, // Одежда наша – цвет земли; // И робким взором мы поникли, // Влачимся медленно в пыли» [19, с. 174]. Их лица неразличимы в потоке времени, они как вереница проходящих теней; люди-призраки, населяющие этот город представляют собой «отрывки неугаданных слов»: «Словно нездешние тени, // Стены меня обступили: // Думы былых поколений! // В городе – я как в могиле...» [19, с. 177]. Канун XX века воспринимается Брюсовым как некий *итог исчерпавшей себя цивилизации, как преддверие неминуемой катастрофы*.

Показательно, что пространство в поэтическом мире поэта – это, прежде всего, замкнутое пространство. Символично название одной из его поэм «Замкнутые». Выражением этой замкнутости выступает образ тюрьмы. Стихотворение «Каменщик» (1901) входит в цикл «Картины» (сб. «Urbi et Orbi»), которые «рисуют» взору читателя всю неприглядность и пошлость современной действительности. Образ тюрьмы сопоставляется с мотивами тесноты и неподвижности домов первых двух стихотворений цикла. Очевидно, что каменщики строят дом, который в реальности городского быта становится тюрьмой. Далее этот образ дом-тюрьма продолжит свое бытование в стихотворении «Каменщик» (1904) из цикла «Повседневность», где получает иной масштаб. Тюрьмой становится жизнь человека. Образ тюрьмы получает свое окончательное оформление в восприятии облика современной культуры. Брюсовская картина мира такова: любое здание, любая постройка (= дом, мир, культура) символизирует статику Жизни, т. е. Смерть.

Мотив замкнутости в поэтике В. Брюсова подчеркнут отсутствием открытых дверей. Если же и встречаются открытые двери, то это двери в пространство Смерти: «Я сквозь незапертые двери / Вошел в давно знакомый дом, / Я заглянул ...// Она смотрела...» [19, с. 313-314].

Еще одним признаком этой замкнутости выступает образ решетки на окнах: «Между нами частая решетка, / В той тюрьме, где мы погребены / Днем лучи на ней мерцают крошечко, / Проходя в окно, вверху стены» [19, с. 291].

Но образ тюрьмы в мире Брюсова существует не только как реальность, т.е. здание, с тюрьмой также сравнивается душа: «Проходят дни, проходят сроки. / Свободы тщетно жаждем мы. / Мы беспощадно одиноки / На дне своей души-тюрьмы!» [19, с. 318]. Если в этом мире и возможно движение, то эту возможность получает сама лишь Смерть. Поэтому человеку остается одно – движение вслед за нею.

Категория времени как времени остановившегося, застывшего, замершего оказывается ценным для поэтического мира Валерия Брюсова. Наблюдая за поэтикой стихотворений Брюсова, невозможно не заметить частое противостояние «дня» и «ночи». Брюсов отдает приоритет ночи, ему не жаль умершего дня, который наполнен шумом, толпой, суматохой, т.е. движением. Ночь же наоборот «безмолвна», «медленна».

Важным представляется тот факт, что художественное двойственное по своей природе сознание поэта налагает и отпечаток на хронотоп, который обладает тем же двойственным измерением: в условно-мифологическом пространстве

времени проступают черты исторически конкретных обстоятельств конца века. Исследователями творчества Брюсова замечено, что именно древние культуры дают пищу для размышлений поэта. Таковы, его циклы «Любимцы веков» (сб. «Tertia Vigilia»), «Правда вечная кумиров» (сб. «Stephanos»), «Властительные тени» (сб. «Зеркало теней»), «В маске» (сб. «Семь цветов радуги»). Время прошлое предпочтительнее для поэта, чем современное. Таким образом, брюсовская бесконечность исторична. В статье, посвященной Вл. Соловьеву, Брюсов утверждал, что задача каждого настоящего Художника есть поиск выхода из «мира Времени» (= мир Зла) в «мир Вечности» (= мир Добра), т.е. цель человеческой жизни – победить Время, чтобы все стало Вечностью. Чтобы реализовать эту задачу надо пройти своего рода инициацию, т.е. умереть, познать Смерть. И эту инициацию должен совершить в мире и для мира сам Художник.

Итак, как видим моральные мотивы становятся излюбленными в творчестве «старших» символистов. Поэзия каждого из них выражает, хотя и по своему, переживания человека накануне смерти, показывает сам момент перцепционного, воображаемого перехода из витального пространства в моральное, наконец, просто загробное существование, исход души из тела

#### Библиографический список

1. Брюсов, В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. – М., 1975. – Т. 1.
2. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб., 1996.
3. Минский, Н.М. Полное собрание стихотворений: в 4 т. – СПб., 1907. – Т. 3.
4. Анненский, И.Ф. Символы красоты у русских писателей // Книги отражений. – М., 1979.
5. Мережковский, Д.С. Стихотворения и поэмы. – СПб., 2000.
6. Долинина, А. Дмитрий Мережковский // Русская литература XX века (1890 – 1910) / под ред. проф. С.А. Венгерова: в 2 кн. – М., 2000. – Кн. 1.
7. Мережковский, Д.С. Стихотворения и поэмы. – СПб., 2000.
8. Мережковский, Д.С. В тихом омуте: статьи и исследования разных лет. – М., 1991.
9. Бальмонт, К. Д. Стихотворения. – Л., 1969.
10. Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей: в 2 т. – М., 1998. – Т. 2.
11. Белый, А. Символизм как миропонимание. – М., 1994.
12. Шифман, Л.И. Л. Толстой и К. Бальмонт // Русская литература. – 1970. – № 3.
13. Соловьев, В.С. Три речи в память Достоевского // Сочинения в двух томах. – М., 1988. – Т. 2.
14. Брюсов, В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. – М., 1975. – Т. 6.
15. Белый, А. Символизм как миропонимание. – М., 1994.
16. Айхенвальд, Ю.И. Силуэты русских писателей: в 2 т. – М., 1998. – Т. 2.
17. Анненский, И.Ф. Символы красоты у русских писателей // Книги отражений. – М., 1979.
18. Сологуб, Ф.К. Стихотворения. – СПб., 2000.
19. Ходасевич, Вл. Сологуб // Некрополь. Литература и власть. Письма Б.А. Садовскому. – М., 1996.
20. Булгаков, С.Н. Софиология смерти // Тихие думы. – М., 1996.
21. Брюсов, В. Я. Собрание сочинений: в 7 т. – М., 1975. – Т. 1.

#### Bibliography

1. Bryusov, V.Ya. Sbranie sochineniy: v 7 t. – M., 1975. – T. 1.
2. Zhirmunskiy, V.M. Nemeckiy romantizm i sovremennaya mistika. – SPb., 1996.
3. Minskiy, N.M. Polnoe sbranie stikhotvoreniy: v 4 t. – SPb., 1907. – T. 3.
4. Annenskiy, I.F. Simvolih krasotih u russkikh pisateley // Knigi otrazheniy. – M., 1979.
5. Merezkovskiy, D.S. Stikhotvoreniya i poehmih. – SPb., 2000.
6. Dolinina, A. Dmitriy Merezkovskiy // Russkaya literatura KhKh veka (1890 – 1910) / pod red. prof. S.A. Vengerova: v 2 kn. – M., 2000. – Kn. 1.
7. Merezkovskiy, D.S. Stikhotvoreniya i poehmih. – SPb., 2000.
8. Merezkovskiy, D.S. V tikhom omute: statji i issledovaniya raznihkh let. – M., 1991.
9. Baljmont, K. D. Stikhotvoreniya. – L., 1969.
10. Aykhenvajld, Yu. I. Siluehtih russkikh pisateley: v 2 t. – M., 1998. – T. 2.
11. Belihy, A. Simvolizm kak miroponimanie. – M., 1994.
12. Shifman, L.I. L. Tolstoy i K. Baljmont // Russkaya literatura. – 1970. – № 3.
13. Solovjev, V.S. Tri rechi v pamyatj Dostoevskogo // Sochineniya i dvukh tomakh. – M., 1988. – T. 2.
14. Bryusov, V.Ya. Sbranie sochineniy: v 7 t. – M., 1975. – T. 6.
15. Belihy, A. Simvolizm kak miroponimanie. – M., 1994.
16. Aykhenvajld, Yu.I. Siluehtih russkikh pisateley: v 2 t. – M., 1998. – T. 2.
17. Annenskiy, I.F. Simvolih krasotih u russkikh pisateley // Knigi otrazheniy. – M., 1979.
18. Sologub, F.K. Stikhotvoreniya. – SPb., 2000.
19. Khodasevich, Vl. Sologub // Nekropolj. Literatura i vlastj. Pismja B.A. Sadovskomu. – M., 1996.
20. Bulgakov, S.N. Sofiologiya smerti // Tikhie dumih. – M., 1996.
21. Bryusov, V. Ya. Sbranie sochineniy: v 7 t. – M., 1975. – T. 1.

Статья поступила в редакцию 03.11.11

УДК 81'27

*Ansимова О.К. CULTURAL LINGUISTICS AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF LINGUISTIC SCIENCE: AN ATTEMPT TO DEFINE DISCIPLINARY STATUS.* Under active development on issues of language and culture in this paper an attempt is made a comparative analysis of the basic concepts of cultural linguistics and determine its place in a number of other sciences field claimed that presents a theoretical significance, since all that exists at the present stage of its development concepts are of controversial nature.

*Key words:* cultural linguistics, ethnolinguistics, lingvostranovedenie, sociolinguistics, language and culture.

*О.К. Ансимова, аспирант НГТУ, г. Новосибирск, E-mail: ansimova-ok@yandex.ru*

## **ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ: ПОПЫТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО СТАТУСА**

В рамках активных разработок в области проблемы языка и культуры в данной статье осуществляется попытка сравнительного анализа основных концепций определения лингвокультурологии и ее места в ряде других наук заявленной области, что представляет теоретическую значимость, поскольку все существующее на современном этапе ее развития концепции носят дискуссионный характер.

*Ключевые слова:* лингвокультурология, этнолингвистика, лингвострановедение, социоллингвистика, язык и культура.

На современном, антропоцентрическом, этапе развития лингвистической науки значимость проблемы взаимодействия языка и культуры не вызывает сомнений в научном сообществе. Необходимость обращения к лингвокультурологии как к области исследования данной проблемы связано с тем, что, несмотря на активные разработки данной области научного знания (предпосылки формирования – труды В. фон Гумбольдта и его последователей; активно исследуемая теория вопроса – современные работы В.Н. Телия, В.В. Воробьева, В.А. Масловой и др.), общепринятое определение лингвокультурологии, единое мнение относительно ее статуса, предметов, методов и т.д. еще не сформировано в научном сообществе. Иными словами, практически все существующие концепции описания данной научной дисциплины носят дискуссионный характер, часто не имея точек соприкосновения, что видится ущербным и представляет определенную проблему для дальнейших теоретических изысканий. В предлагаемой статье осуществляется попытка сопоставления основных концепций определения дисциплинарного статуса лингвокультурологии, необходимого для формирования проблемного теоретического поля данной области знания.

При отмеченной выше дискуссионности вопросов, связанных с лингвокультурологией, единственной проблемой, не вызывающей сомнений у исследователей, является изучение языка в неразрывной связи с культурой. Позиции исследователей относительно этого вопроса хорошо видны в формулировках определений лингвокультурологии, так, в большинстве случаев она определяется как научная дисциплина «о связи языка и культуры», что не дает четкого представления о ее специфике. Не способствует этому и отсутствие критериев разграничения или, наоборот, интеграции нескольких фундаментальных научных направлений, исследующих проблему связи языка и культуры: помимо лингвокультурологии к ним принято относить этнолингвистику, лингвострановедение, социоллингвистику, а также межкультурную коммуникацию и др. Отметим, что авторитетный теоретик языка Е.Д. Поливанов проблему «язык и культура» относил к компетенции филологии, с той оговоркой, что филология определялась им как «совокупность дисциплин (дисциплин общественных наук), изучающих явления культуры, отраженные в памятниках слова, т.е. в языке и в памятниках литературы, а также (поскольку другие искусства, в свою очередь, тесно прилегают к литературе) и в памятниках других искусств. Следовательно, история литературы (именно как история культуры в памятниках литературы) и история искусства входят в понятие филологии, но лингвистика (= наука о языке) входит сюда лишь частично» [1, с. 444]. Наличие

нескольких дисциплин, в область исследования которых включена проблема «язык и культура», объясняется многоаспектностью заявленной проблемы, а их недостаточно четкое разграничение – стремлением современной науки в целом к интеграции различных областей знания, имеющих общий или схожий объект исследования.

В подтверждение дискуссионности многих вопросов лингвокультурологии отметим, что даже появление обозначающего лингвокультурологию термина не находит единого мнения среди исследователей: западные ученые полагают, что первым о лингвокультурологии заявил в своей статье американский лингвист, антрополог и литературовед П. Фридрих; Л.А. Городецкая приписывает первенство употребления данного термина Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову [2, с. 68]; по мнению Е.О. Опарина, появление этого термина связано с разработками фразеологической школы, возглавляемой В.Н. Телия. Таким образом, современный этап развития лингвокультурологии можно обозначить как стадию становления теоретико-методологической базы данной научной дисциплины, откуда возникает необходимость рассмотрения и, что важно, попытки систематизации и классификации исследователями существующих теорий/концепций понимания лингвокультурологии.

За основу классификации нами принято определение статуса лингвокультурологии, поскольку выявление ее места в ряде других гуманитарных наук, исследующих проблему связи языка и культуры, видится первоочередной базовой задачей.

Среди существующих концепций относительно дисциплинарного статуса лингвокультурологии можно выделить следующие: а) понимание лингвокультурологии как самостоятельной научной дисциплины (В.В. Воробьев, В.А. Маслова и др.); б) понимание привативного характера взаимодействия: лингвокультурология как часть той или иной науки, изучающей язык и/или культуру (Г.В. Токарев, Е.Е. Коптякова, Л.А. Городецкая, В.И. Карасик; В.В. Красных, Г.Г. Слышкин и др.); в) интеграция заявленных подходов (В.Н. Телия и др.).

Как самостоятельную «исследовательскую парадигму движения научной мысли о языке и культуре» лингвокультурологию понимают В.В. Воробьев и В.А. Маслова. Подобной позиции также придерживается Е.О. Опарина, но ввиду ее следования определению и большинству воззрений В.А. Масловой практически во всех методологических основаниях лингвокультурологии [3], отдельное рассмотрение ее подхода не представляется необходимым.

Самостоятельность лингвокультурологии раскрывается заявленными исследователями в сопоставлении ее с другими направлениями изучения связи языка и культуры, в част-

ности с лингвострановедением (оговоримся, что, несмотря на разграничение В.В. Воробьевым лингвокультурологии и лингвострановедения, он, а также Ю.Е. Прохоров, занимаются изучением взаимодействия языка и культуры в целях национально-ориентированного обучения, что позволяет Н.Ф. Алиференко обозначать тенденцию постепенного вытеснения лингвокультурологией страноведения в дидактическом плане [4, с. 268-283]). По мнению В.В. Воробьева, лингвострановедение, являясь, в отличие от лингвокультурологии, аспектом обучения языка, а не научной дисциплиной филологической области, может трактоваться как «практическая реализация лингвокультурологии в процессе преподавания русского языка иностранцам» [5, с. 37]. При этом необходимо обратить внимание на то, что, в понимании Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, лингвострановедение представляет собой методический, лингводидактический аналог социолингвистики, с той разницей, что при всей общности «их объективной базы» «социолингвистика изучает экстралингвистический план языка как таковой с сугубо познавательными целями», а лингвострановедение – экстралингвистический план языка с точки зрения учебного процесса, т.е. с прикладными целями» [6, с. 16]. Отсюда возникает необходимость разграничения лингвострановедения и социолингвистики. Обратимся к определению социолингвистики: «научная дисциплина, развивающаяся на стыке языкознания, социологии, социальной психологии и этнографии и изучающая широкий комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, его общественными функциями, механизмом воздействия социальных факторов на язык и той ролью, которую язык играет в жизни общества» [7, с. 481], из которого ясно, что одна из основных проблем, изучаемых социолингвистикой, – проблема социальной дифференциации языка.

Так, если В.В. Воробьев рассматривает лингвострановедение как методический аналог лингвокультурологии, то, по мнению В.А. Масловой, лингвострановедение – составная часть лингвокультурологии. Разграничение же данных дисциплин В.А. Маслова видит в том, что «лингвострановедение изучает собственно национальные реалии, нашедшие отражение в языке» [8, с. 12]. Попытаемся не согласиться с подобным пониманием, поскольку Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, помимо изучения безэквивалентных языковых единиц, предложили понятия **лексического фона / фоновых знаний**, которые продолжают развиваться уже во «всеобъемлющей лингвострановедческой концепции логоэпистемы», что предполагает более широкие исследования, нежели изучение безэквивалентной лексики.

Помимо разногласий во взглядах на соотношение лингвокультурологии и лингвострановедения, значительные отличия концепций заявленных авторов заключаются в определении временного аспекта объекта лингвокультурологии: при схожести самого объекта (взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования) В.В. Воробьев интерпретирует его только как современные языковые факты (синхронный подход), В.А. Маслова – как современные и исторические (синхронный и диахронный подходы).

Частично соотносятся с концепциями В.В. Воробьева и В.А. Масловой научные воззрения В.Н. Телия, поскольку, согласно ее концепции, лингвокультурология рассматривается как самостоятельная дисциплина, с одной стороны, и как часть этнолингвистики, – с другой.

Как самостоятельная научная дисциплина лингвокультурология исследует «воплощенные в живой национальный язык материальную культуру и менталитет и проявляющиеся в языковых процессах в их действенной преемственности с языком и культурой этноса» [9, с. 216]. Обратим внимание на то, что, используя в данном определении сочетание «культура этноса», В.Н. Телия поясняет, что «лингвокультурология призвана исследовать и описывать взаимодействие языка и культуры не только и не столько в ее этнических формах

<...>, сколько в формах национальной и общечеловеческой культур» [9], т.е. В.Н. Телия, в отличие от В.А. Масловой, не ограничивает объект лингвокультурологии национальной культурой, расширяя его до культуры межнациональной / интернациональной – и далее «в их современном состоянии или в определенные синхронные срезы этого взаимодействия» [9]. Приведенный тезис используется В.А. Масловой как один из аргументов для противопоставления своей концепции и концепции В.Н. Телия, поскольку, как отмечено выше, по мнению В.А. Масловой, лингвокультурологии свойственны как синхронные, так и диахронные исследования. Но поскольку В.Н. Телия под синхронными срезами понимает «определенные периоды эпохи жизни народа в целом или каких-либо его социальных групп, оказавших заметное воздействие на формирование ментальности народа» [9], думается, что данное противопоставление не имеет основания и может быть снято.

Как часть этнолингвистики лингвокультурология «посвящена изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии» [9], а ее глобальные задачи в основном совпадают с теми, которые были выдвинуты Н.И. Толстым при определении программы этнолингвистики [10, с. 182].

К особенностям научных взглядов В.Н. Телия можно отнести то, что при изложении заявленных концепций она не делает обобщений и не приводит доводов в пользу какой-либо из них, поскольку это не является для ее исследования первостепенной задачей. В научном сообществе большую популярность получила та концепция В.Н. Телия, в которой лингвокультурология раскрывается как часть этнолингвистики. Так, например, Г.В. Токарев [11] и Е.Е. Коптякова [12] во многом опираются на данную концепцию, беря ее за основу собственных исследований.

Обратимся к другим концепциям, в которых лингвокультурология рассматривается как часть какой-либо другой научной дисциплины.

Позиционирование научно-методологической базы лингвокультурологии как части, «особого раздела» культурологии представлено в монографии Л.А. Городецкой. Автор, основываясь на разделении А.Я. Флиером культурологии на гуманитарную (культуроведение) и социально-научную (собственно культурология) [13], понимает лингвокультурологию как антропологическое направление социально-научной культурологии [2, с. 70-71], исследующее «культурное бытие людей на уровне, приближенном к их повседневной социальной практике, нормативные образцы поведения и сознания, непосредственные психологические мотивации и пр.» [13, с. 13]. Отметим то, что позиционирование лингвокультурологии как части культурологии характерно для некоторых культурологов, например, А.И. Арнольдова [14] и С.П. Мамонтова [15].

Не оспаривая подобный подход и считая его возможным выбранным аспектом для решения определенных задач, а также отмечая близость данных наук, обусловленную изучением ими культуры, обозначим разницу лингвокультурологии и культурологии.

Культурология – это наука, задачей которой является осмысление культуры как целостного (общественного) явления, для чего необходимо исследование взаимодействия человека и всех возможных сфер его бытия (природа, социум, физическое и духовное бытие) [16, с. 3; 17, с. 6], в то время как лингвокультурология изучает взаимосвязь языка и культуры.

Понимание лингвокультурологии как «прикладной стороны лингвистического знания» прослеживается в работах В.И. Карасика. Заявленный подход основывается на понимании языка как «составной части культуры» вследствие акцентуации его кумулятивной функции: язык – «важнейшее хранилище коллективного опыта». Так, с позиции культурологически ориентированной лингвистики язык – это «средство концентрированного осмысления коллективного опыта,



который закодирован во всем богатстве значений слов, фразеологических единиц, общеизвестных текстов, формульных этикетных ситуаций и т.д.». Отсюда и альтернативное название лингвокультурологии – «культурологическая лингвистика» [18, с. 3-5].

Важно отметить то, что в концепции В.И. Карасика лингвокультурология рассматривается не только как часть лингвистики, но и как дисциплина, объединяющая, включающая в себя этнолингвистику и социолингвистику: основываясь на тезисе Н.И. Толстого о том, что «этнолингвистика и социолингвистика могут расцениваться как два основных компонента (раздела) одной более общей дисциплины, с той лишь разницей, что первая учитывает прежде всего специфические – национальные, народные, племенные – особенности этноса, во время как вторая – особенности социальной структуры конкретного этноса (социума) и этноса (социума) вообще, как правило, на более поздней стадии его развития применительно к языковым процессам, явлениям и структурам» [19, с. 27–28], В.И. Карасик делает вывод о том, что «этой более общей дисциплиной, по-видимому, и является лингвокультурология» [20, с. 73-74].

Вероятно, это единственная концепция, где не только лингвокультурология понимается не как часть той или иной науки, а этнолингвистика и социология видятся как части лингвокультурологии.

Объединение подходов, в которых лингвокультурология является либо частью культурологии, либо частью лингвистики, отличает работы В.В. Красных и Г.Г. Слышкина. В.В. Красных выделяет двойной объект данной дисциплины: «язык как отражение и фиксация культуры», с одной стороны, и «культура сквозь призму языка» – с другой [21, с. 12], что логично предполагает два разных направления: лингвокультурология как часть культурологии и культурологическая лингвистика как часть лингвистики. Похожая идея прослеживается в работах Г.Г. Слышкина, который называет два направления в лингвокультурологии: от единицы языка к единице культуры и от единицы культуры к единице языка [22].

Некоторая попытка снятия проблемы определения статуса лингвокультурологии в ряде других изучающих взаимодействие языка и культуры дисциплин с помощью обращения к лингвокультуроведению прослеживается в работах А.Т. Хроленко. Он рассматривает лингвокультурологию как самостоятельную дисциплину и в то же время – как неотделимую часть некоего комплекса дисциплин, полагая, что «вся совокупность культурно-языковой проблематики может быть обозначена как лингвокультуроведение» (как известно, разграничение лингвокультурологии и лингвокультуроведения было обозначено Ю.В. Рождественским [23, с. 3]. В концепции А.Т. Хроленко лингвокультуроведение определяется как «междисциплинарная наука, которая выясняет, как в слове аккумулируются культурные смыслы и как слово способствует функционированию культуры» [24, с. 26-27]. В рамках линг-

вокультуроведения прослеживается иерархия дисциплин, критерием разграничения которых является степень обобщенности их основного предмета исследования. Наибольшей степенью абстракции отличается лингвокультурология: «лингвокультурология – это философия языка и культуры. <...> Есть все основания полагать, что лингвокультурология в пределах лингвокультуроведения соответствует статусу общего языкознания в системе наук о языке. Подобно общему языкознанию, лингвокультурология призвана выявлять и описывать наиболее общие закономерности взаимоотношений, взаимодействия языковой и культурной практики человека и общества. Эта аналогия помогает понять, что лингвокультурология, как и общее языкознание, возможна только в системе других, более конкретных по предмету и иных по методологии исследования, научных дисциплин» [24, с. 31]. Так, сравнивая лингвокультурологию, например, с этнолингвистикой, А.Т. Хроленко делает вывод о том, что они соотносятся так же, как частное и общее языкознание: этнолингвистика может быть русской, английской, польской и любой другой, а лингвокультурология национальной быть не может. Отметим, что данная позиция исследователя относительно определения объекта изучения лингвокультурологии одной/меж-национальной культурой может быть соотнесена с позицией В.Н. Телия и противопоставлена положениям В.А. Масловой соответственно.

Высокая степень абстракции относительно лингвокультурологии также отличает работы Ю.В. Прохорова, по мнению которого в лингвокультурологии задается более высокий и абстрактный уровень описания проблемы соотношения языка и культуры.

Итак, на основе рассмотрения современных концепций относительно определения дисциплинарного статуса лингвокультурологии и определения ее места в ряде других наук, изучающих язык и культуру, видится актуальной попытка ее определения как интегративной самостоятельной научной дисциплины, изучающей взаимодействие языка и культуры, выраженное в языковых единицах, содержащих культурный компонент. Поясним, что, вслед за большинством исследователей, мы понимаем лингвокультурологию как научную дисциплину, еще только стремящуюся к оформлению в фундаментальную науку, поскольку на данном этапе ее метаязыковая база видится нам не полностью сформированной. Лингвокультурология определяется нами как самостоятельная дисциплина, поскольку, изучая взаимосвязь языка и культуры в рамках филологической науки, лингвокультурология отличается от лингвострановедения как аспекта преподавания языка, от социолингвистики как науки, исследующей социальное расслоение общества, от этнолингвистики как науки, в основе исследований которой находится народное творчество в его диахронном аспекте и т.д. Отметим, что при заявленном самостоятельном статусе лингвокультурологии, данная научная дисциплина интегративна, так как основывается на достижениях всех вышеперечисленных смежных наук.

#### Библиографический список

1. Поливанов, Е.Д. Избранные работы: труды по восточному и общему языкознанию. – М., 1991.
2. Городецкая, Л.А. Лингвокультура и лингвокультурная компетентность: монография. – М., 2009.
3. Язык и культура: сб. обзоров / РАН. ИНИОН / отв. ред. О.Е. Опарина [и др.]. – М., 1999.
4. Алиференко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: уч. пособие. – М., 2005.
5. Воробьев, В.В. Лингвокультурология (теория и методы): монография. – М., 1997.
6. Верещагин, Е.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М., 1990.
7. Социолингвистика // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. – М., 2000.
8. Маслова, В.А. Лингвокультурология: уч. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2001.
9. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М., 1996.
10. Толстой, Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. – М., 1983.
11. Токарев, Г.В. Проблемы лингвокультурологического описания концепта (на примере концепта «трудовая деятельность»). – Тула, 2000.
12. Коптякова, Е.Е. Германия в национальных стереотипах русских и американцев // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2008. – Вып. 1 (24).
13. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов. – М., 2000.
14. Арнольдов, А.И. Введение в культурологию (новая расширенная редакция): учебное пособие. – М., 1993.

15. Мамонтов, С.П. Основы культурологии. – М., 1994.
  16. Соколов, Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры: уч. пособие. – Л., 1989.
  17. Культурология: уч. пособие для вузов / ред. Маркова А.Н. – М., 2007.
  18. Карасик, В.И. О категориях лингвокультурологии // Языковая личность: проблемы коммуникативной деятельности: сб. науч. трудов. – Волгоград, 2001.
  19. Толстой, Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М., 1995.
  20. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград, 2002.
  21. Красных, В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М., 2002.
  22. Слышкин, Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. – М., 2000.
  23. Рождественский, Ю.В. Введение в культуроведение. – М., 1996.
  24. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии. – М., Наука, 2006.
- Bibliography**
1. Polivanov, E.D. Izbranniye raboty: trudiy po vostochnomu i obtemu yazhkoznaniyu. – M., 1991.
  2. Gorodeckaya, L.A. Lingvokul'tura i lingvokul'turnaya kompetentnost': monografiya. – M., 2009.
  3. Yazhik i kul'tura: sb. obzorov / RAN. INION / otv. red. O.E. Oparina [i dr.]. – M., 1999.
  4. Aliferenko, N.F. Sovremenniyeh problemih nauki o yazhike: uch. posobie. – M., 2005.
  5. Vorobjev, V.V. Lingvokul'turologiya (teoriya i metodih): monografiya. – M., 1997.
  6. Verethagin, E.M. Yazhik i kul'tura: lingvostranovedenie v prepodavanii russkogo yazhika kak inostrannogo / E.M. Verethagin, V.G. Kostomarov. – M., 1990.
  7. Sociolingvistika // Yazhkoznaniye. Bol'shoy ehnciklopedicheskiy slovar'. – M., 2000.
  8. Maslova, V.A. Lingvokul'turologiya: uch. posobie dlya stud. vihsch. ucheb. zavedeniy. – M., 2001.
  9. Teliya, V.N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul'turologicheskiy aspektih. – M., 1996.
  10. Tolstoy, N.I. O predmete ehntolingvistiki i ee roli v izuchenii yazhika i ehntosa // Arealniye issledovaniya v yazhkoznanii i ehntografii. Yazhik i ehntos. – M., 1983.
  11. Tokarev, G.V. Problemih lingvokul'turologicheskogo opisaniya koncepta (na primere koncepta «trudovaya deyatel'nost'»). – Tula, 2000.
  12. Kopyakova, E.E. Germaniya v nacional'nykh stereotipakh russkikh i amerikancev // Politicheskaya lingvistika. – Ekaterinburg, 2008. – Vihp. 1 (24).
  13. Flier, A.Ya. Kul'turologiya dlya kul'turologov. – M., 2000.
  14. Arnol'dov, A.I. Vvedenie v kul'turologiyu (novaya rasshirennaya redakciya): uchebnoye posobie. – M., 1993.
  15. Mamontov, S.P. Osnovih kul'turologi. – M., 1994.
  16. Sokolov, E.V. Ponyatie, suthnost' i osnovniye funkci kul'turih: uch. posobie. – L., 1989.
  17. Kul'turologiya: uch. posobie dlya vuzov / red. Markova A.N. – M., 2007.
  18. Karasik, V.I. O kategoriakh lingvokul'turologii // Yazhkovaya lichnost': problemih kommunikativnoy deyatel'nosti: sb. nauch. trudov. – Volgograd, 2001.
  19. Tolstoy, N.I. Yazhik i narodnaya kul'tura. Ocherki po slavyanskoy mifologii i ehntolingvistike. – M., 1995.
  20. Karasik, V.I. Yazhkovoy krug: lichnost', konceptih, diskurs. – Volgograd, 2002.
  21. Krasnykh, V.V. Ehntopsikholingvistika i lingvokul'turologiya. – M., 2002.
  22. Slihshtin, G.G. Ot teksta k simvolu: lingvokul'turniye konceptih precedentnykh tekstov v soznanii i diskurse. – M., 2000.
  23. Rozhdestvenskiy, Yu.V. Vvedenie v kul'turovedenie. – M., 1996.
  24. Khrolenko, A.T. Osnovih lingvokul'turologii. – M., Nauka, 2006.

Статья поступила в редакцию 11.11.11

УДК 801.3

**Sokolnikova S.N. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PLACE NAMES IN RUSSIAN AND CHINESE.** In this article the classification of the principles of place names nomination and its analysis are represented. The author concludes that place names in Russia and China are nominated in the same ways.

**Key words:** place names, principles of nomination, categories of classification, analysis, similarities and differences.

**С.Н. Сокольникова, аспирант ФГБОУ ВПО «АГАО», г. Буйск, E-mail: sokolnikovas@rambler.ru**

## СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОНИМОВ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ

В статье представлены классификация топонимов по принципу номинации и интерпретация полученных результатов, делаются выводы о идентичности типов наименования городов в китайском и русском языках.

**Ключевые слова:** топонимы, принципы номинации, рубрики классификации, исследование, сходства и различия.

Целью данной статьи является представление результатов сопоставительного исследования, выполненного в рамках диссертационной работы. Любые наименования отражают в той или иной степени способ номинирования и мышления. Взятые в современной форме они представляют собой срез языковой диахронии и синхронии одновременно, являясь продуктом человеческой жизнедеятельности, они служат объектом исследования для многих наук. В психоллингвистике, в частности, весьма популярным является подход к изучению языкового сознания через систему топонимических единиц в целом и на примере конкретных регионов.

Данная статья посвящена классификации топонимического материала, представленного на территории Московской области Российской Федерации, с одной стороны, и на территории провинции Хэбэй Китайской Народной Республики, с другой. Выбор данной провинции не случаен и вполне логичен, поскольку Хэбэй является столичным регионом так же, как и Московская область.

Для отбора топонимов использовались географические карты Китая и России, а также материалы Интернет-ресурсов, в частности, Википедия [1] и др. Таким образом, для исследования были взяты 80 топонимов населенных пунктов Московской области и 100, входящих в состав провинции Хэбэй.

На первом этапе ойконимы независимо от языка были распределены согласно принципу, положенному в основу номинации, на 11 групп: отантропонимическое наименование, воинская слава, номинация по гидрониму, топографическая характеристика местности, качественная характеристика селения, духовная культура, географическая соотнесенность, номинация по фитониму, род занятий, вторичное использование номинации, смешанный тип номинации. Само наименование некоторых рубрик требует пояснений.

На первом этапе ойконимы независимо от языка были распределены согласно принципу, положенному в основу номинации, на 11 групп: отантропонимическое наименование, воинская слава, номинация по гидрониму, топографическая характеристика местности, качественная характеристика селения, духовная культура, географическая соотнесенность, номинация по фитониму, род занятий, вторичное использование номинации, смешанный тип номинации. Само наименование некоторых рубрик требует пояснений.

1. Отантропонимическое наименование – здесь имеют в виду топонимы, основу наименования которых составляют имена собственные реальных людей и мифических персонажей, а также различные прозвища и прозвания.

2. Воинская слава – в эту группу попали топонимы, в основе которых лежит различные военные термины и прославление воинских побед.

3. Номинация по гидрониму – топонимы, в названии которых упомянуты наименования рек или в их составе присутствует номенклатурное слово: река, озеро, вода и т.д.

4. Топографическая характеристика местности – в наименовании топонима встречается характеристика или указание на природные особенности рельефа в данной местности.

5. Качественная характеристика селения – в названии заложено то, что может служить отличительной чертой данного поселения, кроме географических особенностей.

6. Духовная культура – топонимы, объединенные в эту группу, либо названы по церкви, находящейся в этом городе (преимущественно для российских топонимов), либо содержат в своем названии какие-то религиозные тезисы и постулаты (преимущественно в китайских топонимах).

7. Географическая соотнесенность – топонимы этой группы содержат в своем составе названия географических сторон света (север, юг, запад, восток).

8. Вторичное использование номинации – под которой подразумевается, что ранее это наименование использовалось для номинации другого объекта, находящегося на месте последнего и переставшего существовать в силу объективных причин, а затем уже стало применяться для названия города.

9. Смешанный тип номинации – топонимы, объединившие в своем названии несколько типов, выделенных ранее.

На следующем этапе был дан анализ разной наполняемости групп для китайских и русских топонимов отдельно, и произведено сопоставление рубрик, выделенных для русских и китайских ойконимов. Выявленные сходства и различия позволили при интерпретации результатов сопоставительного исследования установить определенные закономерности в наименовании, связанные с особенностями метаязыкового сознания носителей русского и китайского языков, а именно:

1. Не все рубрики представлены равномерно в обоих языках. Кроме того, имеются группы, уникальные для одного языка и отсутствующие в другом.

2. Наиболее многочисленной является группа «отантропонимическое наименование». В нее вошли китайские топонимы, включающие фамилии и династические имена, всего 16 ойконимов. Следует отметить, что в Китае на протяжении многих веков имена императоров и их династические прозвища были запрещены для произнесения; и надевать ребенка именем, сходным по звучанию и написанию с императорским, для китайцев было невозможно. Однако при номинировании населенных пунктов в Китае династические имена были весьма популярны.

В России, в целом, и в Московской области, в частности, также очень распространен этот способ номинации. Крупные города, как правило, получали имена российских императоров/императриц, древнерусских князей – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владимир. Более мелкие города носят имена известных людей: ученых, политиков, писателей, революционных деятелей, которые имеют отношение, прямое или косвенное, к данному месту – Королев, Дзержинский, Чехов, Тольятти. Деревням и позднее маленьким (уездным) городам присваивались имена, фамилии или прозвища их владельцев-помещиков: Голицыно, Одинцово (прозвище боярина Великого князя Дмитрия Донского — Оди́нца (Домотканова Андрея Ивановича), Фрязино (прозвище итальянцев — фрязины).

3. В группе «номинация по гидрониму» распределение в двух языках также оказалось примерно одинаковым, 13 единиц в русском и 14 в китайском языках: Истра, Дрезна, 沙河 (река с песчаной отмелью), 沽源 (исток реки Гу).

4. Группа «воинская слава», столь объемная в китайском языке, для русского языка оказалась самой малочисленной; 14 и 2 единицы соответственно: Красноармейск, Реутов (реут – сторожевая башня с колоколами), 武邑 (столица воинской доблести), 武安 (военный порядок), 武强 (воинственный и сильный), 康保 (защита мира). Хотя в России большое количество городов-героев, городов, в окрестностях которых проходили жестокие бои и одерживались блестящие победы, но знание об этом является фоновым, напоминанием же служат различные памятники и музеи.

5. Также одной из малочисленных в русском языке является группа «качественная характеристика селения» – всего 3 единицы. Для китайских ойконимов такой принцип номинации считается более популярным (13): 大城 (большой город), 平乡 (мирный сян (адм.-территориальная единица)), 赞皇 (прославляющий императора), 博野 (большая свободная окрестность). Причина, как нам видится, заключается

в том, что для России этот способ номинации в большей степени присущ для деревень и поселков. Неслучайно, города Московской области, отнесенные к этой группе, также ранее были селами – Видное, Железнодорожный. Название города «Звенигород» заимствовано переселенцами от аналогичных названий в Галицкой земле и под Киевом.

6. Разная наполненность группы «духовная культура» для двух языков (русский – 5, китайский – 11) может быть объяснена с точки зрения семантической наполненности группы. Дело в том, что в китайском языке в эту группу попали топонимы, содержащие в себе любые слова религиозной тематики, но для русского топонимикона такой способ номинации не вполне типичен. В русле религиозной тематики город мог получить название по церкви, расположенной неподалеку, либо в самом городе. Таковы города Воскресенск, Сергиев Посад, Дмитров. Большая часть топонимов из этой группы также может быть отнесена к рубрике «отантропонимическое наименование»: 正定 (буддистское истинное сосредоточение), 无机 (высшее начало).

7. В топонимиконе провинции Хэбэй не было выявлено ойконимов, относящихся к группе «род занятий». Также не были выделены ойконимы с вторичным использованием номинации. Необходимо уточнить, что анализу подвергались прямые переводы топонимов на русский язык, в соответствии с концепцией о прозрачности внутренней формы слов в китайском языке, поэтому данная группа осталась незаполненной в силу недостаточности материала исследования. Что касается Московской области, в группу «род занятий» было помещено 9 топонимов: Мытищи (название происходит от так называемой мытной пошлины, взимавшейся с торговцев), Котельники, Электросталь. Достаточно большим числом оказалось топонимов с вторичным использованием номинации (13), причина этого видится в динамике прироста населения Москвы и Московской области, присоединении городов к Москве и напротив отделения от Москвы целых районов и превращение их в самостоятельные города, которым нужно дать название. Причем некоторые из них приняли названия без изменений, в том виде, в каком они функционировали в качестве названий сел и деревень. Например, Орехово-Зуево, Ступино, Домодедово. Другие же были модифицированы с помощью специальных топонимических формантов – ск, -ов: Дедовск, Климовск.

8. В группу «номинация по фитониму» не попал ни один русский топоним. По свидетельству многих ученых-топонимистов (Никонов В.А., Мурзаев Э.М., Поспелов Е.М.) [2; 3] фитоним напрямую обычно не являлся источником номина-

ции. Нет в Московской области и названий, связанных с географическими сторонами света, хотя в целом по России такие названия существуют – Владивосток, Североморск, Северодвинск. В китайском топонимиконе в группе «номинация по фитониму» 4 города: 灵寿 (кустарник с коленчатым стволом), 行唐 (медленная скополия японская), 栾城 (город мыльного дерева).

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: принципы номинации топонимического материала в китайском и русском языках частично совпадают, но имеются и уникальные для каждого языка. В целом, основные типы номинирования, встречающиеся в топонимиконе Московской области и провинции Хэбэй, отражают закрепленные в веках представления народов, проживающих на данных территориях.

#### Библиографический список

1. Города Московской области [Э/п]. – Р/д: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
2. Мурзаев, Э.М. Словарь народных географических терминов. – М., 1984.
3. Поспелов, Е.М. Школьный топонимический словарь. – М., 1988.

#### Bibliography

1. Goroda Moskovskoy oblasti [Eh/r]. – R/d: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
2. Murzaev, E.M. Slovarj narodnihkh geograficheskikh terminov. – M., 1984.
3. Pospelov, E.M. Shkol'niy toponimicheskij slovarj. – M., 1988.

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 811. 111=161.1(0,75.8)

*Krivosheeva E.I.* **EXPERIMENTAL STUDIES OF PERCEPTION OF JAPANESE ONOMATOPEIA BY RUSSIAN BEARERS.** The article describes the problem of perception of Japanese onomatopoeia by native Russian speakers. The work is based upon a psycholinguistic experiment that was conducted in order to determine the representation of iconic component in Japanese onomatopoeia.

**Key words:** Japanese language, Russian language, Japanese onomatopoeia, perception, iconicity.

**Е.И. Кривошеева**, аспирант Алтайской Государственной академии образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск, E-mail: [enl77@mail.ru](mailto:enl77@mail.ru)

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЯПОНСКИХ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ НОСИТЕЛЯМИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье исследуется проблема восприятия японских звукоподражаний носителями русского языка. Работа основана на психолингвистическом эксперименте, целью которого явилось установление наличия иконической составляющей в японских звукоподражаниях.

**Ключевые слова:** японский язык, русский язык, японские звукоподражания, восприятие, иконизм.

Категорическое утверждение о том, что связь языкового знака с означаемым абсолютно условна, произвольна, не мотивирована – стало основным на долгие годы. Как следствие этой теории, любое содержание кодируется в языке произвольным образом, поэтому по содержанию ничего нельзя сказать о его форме, и наоборот, форма не дает никаких намеков на то, каково ее содержание.

Однако с древних времен и до наших дней прослеживается существование интуитивного убеждения в том, что закрепление именно такого значения за определенным звуковым комплексом не могло оказаться совершенно случайным, полностью произвольным, что сама природа образующих словозвуков предопределяла в какой-то мере его значение.

Еще в дознаковой ситуации восприятие явлений с их звуковыми проводниками постепенно устанавливает условно-рефлекторные связи, между явлениями и соответствующими звуковыми проводниками, что и раскрывает знаковую возможность: звук означает явление. Многие такие связи, по мнению А.П. Журавлева, имеют физическое основание: как правило, звучания, имеющие сходные акустические характеристики, сопровождают явления, сходно оцениваемые воспринимающими [1].

Содержательность эта мотивирована. В случаях со звукоподражаниями – она мотивирована натурально. Естественная мотивация «звукообразов» и есть «значение» (значимость звучания). Таким образом, «знак уже изначально имел двустороннюю структуру» [2, с. 24].

В языке иконический знак представлен звукоподражательными и звукоименными словами. Звуковая обо-

лочка звукоподражательных слов формируется на базе акустических свойств природных звуков, хотя необходимо отметить, что наборы фонетических средств для обозначения одного и того же природного звука в разных языках часто не схожи.

Указывая на связь между звуком и значением, Гумбольдт отмечал, что «характер этой связи редко удастся описать достаточно полно, часто о нем можно лишь догадываться» [3, с. 92].

По мнению Гумбольдта, существует 3 способа обозначения понятий (иконичности). Первый способ заключается в непосредственном подражании, «когда звук, издаваемый предметом, имитируется в слове настолько, насколько членораздельные звуки в состоянии передать нечленораздельные» [3, с. 93].

Второй способ обозначения понятий основывается на подражании не непосредственному звуку или предмету, а «некоему внутреннему свойству, присущему им обоим» [3, с. 93]. Гумбольдт называет этот способ символическим и отмечает, что для обозначения предметов этот способ избирает звуки, «которые отчасти сами по себе, отчасти в сравнении с другими звуками рожают для слуха образ, подобный тому, который возникает в глубине души под впечатлением от предмета» [3, с. 93]. Ученый подчеркивает тот факт, что предметы, производящие сходные впечатления, обозначаются преимущественно словами со сходными звуками. Этот способ обозначения понятий оказал огромное влияние на примитивные способы словообразования. Гумбольдт полагает, что вследствие этого должно существовать сходство обозначения

ний во всех языках мира. Иными словами, он высказал мысль о возможности существования такого явления, как звуков в междзыковой иконизм.

Сходство звуков в соответствии с родством обозначаемых понятий является основанием третьего способа иконичности. По мнению Гумбольдта, для полного проявления этого способа требуется наличие в звуковой системе словесных единств определенной протяженности.

В нашей работе мы будем придерживаться первого способа понятия иконичности. Но при этом важно отметить, что подражание чему-либо, основанное на сходстве внешнем, не отрицает звуковой системы как таковой. Именно поэтому, звукоподражания в разных языках звучат по-разному.

С точки зрения языковой деятельности развивает вопрос о связи между звуком и смыслом в ономапоэтических словах Хиро Кобаяси [цит. по: 4], выделяя в ономапоэе помимо знакового также и «намекающий» характер, свойственный языку. «Намекающее» начало, по его теории, сильнее проявляется в подражании звуковым явлениям, а знаковое – при отражении незвуковой реальности. Если в языковом знаке отношения между денотатом и языковым референтом строятся по принципу «денотат – языковой знак – языковой референт», то «намекающая» связь состоит в такой последовательности: «денотат – его звуковой отпечаток – языковой референт».

В настоящее время в плане классификации ономапоэ в японской лингвистике традиционно выделялись звукоподражания ぎおんご giongo (термин предложен М. Осимой) и звукоизобразительные ономапоэтические слова gitaigo (автором термина считается Х. Кобаяси) [4].

Более подробная классификация предполагает выделение в числе звукоподражаний подкласса подражаний голосам животных и людей ぎせいご giseigo. Объектом подражания ぎせいご giseigo, по мнению Х. Кобаяси, должен быть

звук, производимый речевыми органами, что исключает из этой категории, например стук дятла [цит. по: 4].

Считается, что язык человека способен передать все окружающие нас звучания. Японский язык довольно скуп на фонетические вариации, поэтому также представляется интересным интерпретация фонетических инвариантов звукоподражаний в системе двух языков.

С целью определения уровня восприятия иконичности звукоподражательных слов японского языка группы ぎおんご giongo был проведен психолингвистический эксперимент с привлечением 54-х носителей русского языка, не владеющих японским языком. Респондентами явились студенты факультета иностранных языков и факультета истории и права АГАО им В.М. Шукшина, г. Бийск. Возрастная группа информантов составляла от 18 до 22 лет. В качестве материала для эксперимента были выбраны 17 звукоподражаний японского языка из разных тематических групп: 1) звуки неживой природы; 2) звуки живой природы (издаваемые животными, птицами, насекомыми). Основным критерием отбора послужило наличие звукоподражательной пары в японском и русском языках. Звукоподражания были отобраны по материалам японско-русского, русско-японского словаря 電子辞典 denshijiten (Электронный словарь).

С привлечением носителя японского языка (мужской голос) была сделана аудиозапись отобранных звукоподражательных слов. Для чистоты проведения эксперимента в аудиторию приглашалось 4 человека, занимавших места на одинаковом расстоянии от динамиков. Каждое слово повторялось пять раз. Материал предъявлялся информантам один раз. Предлагалась следующая инструкция: «В записи вы услышите 17 звукоподражательных слов неизвестного вам языка, каждое слово будет предъявлено 5 раз. Ваша задача – прослушать и подобрать для данных звукоподражаний аналог в родном языке из предложенного списка»<sup>1</sup>.

Таблица 1

Количество случаев узнавания японского звукоподражания носителями русского языка

Японские звукоподражания	Транскрипция	Аналог в русском языке	Количество случаев узнавания
<b>Звуки неживой природы</b>			
ちよきちよき	chokichoki	чик-чик	81%
りんりん	rinrin	дзинь-дзинь	98%
とんとん	tonton	тук-тук	70%
ちくたく	chikutaku	тик-так	83%
ぽたぽた	potapota	кап-кап	25%
とかっと	tokatto	бац	13%
ぼんぼん	bonbon	бум-бум	19%
<b>Звуки живой природы</b>			
があがあ	gaagaa	кря-кря	40%
もーもー	mo:mo:	му-у	43%
からから	karakara	ха-ха-ха	19%
こけこっこ	kokekokko	кукареку	91%
ちゅうちゅう	chu:chu:	пи-пи-пи	8%
わんわん	wanwan	гав-гав	47%
ぶうぶう	bu:bu:	хрю-хрю	9%
にゃーにゃー	nyanya	мяу-мяу	45%
かっこ	kakko	ку-ку	34%
けろっ	kero'	ква	21%

<sup>1</sup> Слова в транскрипционном обозначении в японском языке с использованием латиницы не полностью соответствуют звучанию.

Как видно из *Таблицы 1*, в среднем процент узнавания звукоподражательных слов японского языка достаточно высокий. Чаще других были узнаны такие слова как りんりん *rinrin*, которому соответствует русское звукоподражание *динь-динь*, ちくたく *chikutaku* с аналогом в русском языке *тик-так* и こけこっこ *kekekokko*, которому соответствует русское *кукареку*. В этих случаях высокая степень «опознаваемости» слова обусловлена схожим фонетическим обликом этих слов в двух языках.

Однако процент узнаваемости получили и те японские звукоподражания にゃーにゃー *nyanya* (рус. *мяу-мяу*) и ぽたぽた *potapota* (рус. *кап-кап*), которые не похожи по фонетическому строению с русским аналогом. Имеется в виду то, что спектр дифференциальных признаков, которые присутствуют в любом природном и искусственном звучании при порождении звукоподражаний в том или ином языке задействуется не полностью. Использование различных значимых признаков, тем не менее, позволяет носителю другого языка достраивать в сознании неиспользованные оттенки звуков. Возможно, это можно объяснить таким лингвистическим явлением как внутриязыковой иконизм, предполагающий сохранение качества природных звучаний при использовании различных языковых средств для их передачи в разных языках.

#### Библиографический список

1. Журавлев, А.П. Фонетическое значение. – Л., 1974.
2. Трофимова, Е.Б. Общее в частном: фонетические и лексические единицы в пространстве языка / Е.Б. Трофимова, У.М. Трофимова. – Бийск, 2003.
3. Гумбольдт, В. Фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 2001.
4. Чиронов, С.И. Ономастопозитические слова в современном японском языке: дис. ...канд. филол. наук. – М., 2004.

#### Bibliography

1. Zhuravlev, A.P. Foneticheskoe znachenie. – L., 1974.
2. Trofimova, E.B. Obshche v chastnom: foneticheskie i leksicheskie edinitsy v prostranstve yazyhka / E.B. Trofimova, U.M. Trofimova. – Biiysk, 2003.
3. Gumboldt, V. Fon. Izbranniye trudih po yazihkoznaniyu. – M., 2001.
4. Chironov, S.I. Onomatopoeiticheskie slova v sovremennom yaponskom yazihke: dis. ...kand. filol. nauk. – M., 2004.

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 81.282.2

**Prokofieva E.V. REGIONAL CULTURE AND ITS REFLECTION IN THE DIALECT OF BYSTROISTOKSKY REGION.** Each region has specific features: the history of settlement, development, cultural traditions and language features – all this is not only recreates the material culture, but also the spiritual culture associated with religious beliefs, values, moral and ethical guidelines of personality, which is reflected in the lexicon. This article focuses on vocabulary, reflective materializing and spiritual culture media of bystroistoksky dialect area.

**Key words:** region, dialect personality, material culture, spiritual culture, the lexical level.

**Е.В. Прокофьева**, аспирант каф. общего и исторического языкознания Алтайского государственного университета, г. Барнаул, E-mail: evg-prokofeva@yandex.ru

## РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ГОВОРЕ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА

Каждый регион имеет специфические черты: история заселения, развитие, культурные традиции, особенности языка – все это воссоздаёт не только материальную культуру, но и культуру духовную, связанную с религиозными представлениями, системой ценностей, морально-нравственными ориентирами личности, что находит своё отражение в лексике. Данная статья посвящена лексике, отражающей материальную и духовную культуру носителей диалекта Быстроистокского района.

**Ключевые слова:** регион, диалектная личность, материальная культура, духовная культура, лексический уровень.

Сегодня становится очевидным, что формирование гармонично развитой личности невозможно без глубокого усвоения культурного исторического наследия, без самостоятельного мышления, которое накопило человечество за свою долгую историю. А.А. Потебня впервые в отечественной лингвистике провозгласил тезис о культурно-историческом строе личности, обусловленном мыслительным строем языка, назвав культуру детерминантой народного склада. Следовательно, языковая деятельность личности сводится к созданию мира культуры посредством языка [1]. Все явления, так

Тем не менее, при подборе аналога трудность в русском языке у информантов вызвали звукоподражания ぶうぶう *bu:bu:* (рус. *хрю-хрю*), ちゅうちゅう *chu:chu:* (рус. *пи-пи-пи*) и とかつと *tokatto* (рус. *бац*). Уместно предположить, что в данном случае правильному восприятию помешали фонетические особенности оформления японских звукоподражаний совершенно нехарактерных для русского языка. Это свидетельствует о том, что даже в звукоподражательных словах уровень иконизма может быть разным.

Тщательный анализ результатов эксперимента позволяет предположить, что узнаванию звукоподражательных слов разносистемных языков иноязычными носителями способствуют следующие факторы:

- 1) наличие внешнего фонетического сходства между звукоподражаниями разносистемных языков. Это явление носит название – *универсальный языковой иконизм*;
- 2) сохранение качества природных звучаний в звукоподражательной лексике неродственных языков несмотря на различие фонетических средств, используемых для их обозначения, то есть *внутриязыковой иконизм*.

или иначе затрагивающие душу человека, – окружающая природа, культура, весь опыт и переживания – все это оказывает влияние на язык. Окружающий мир не просто фиксируется с помощью языковых средств, но и оказывается включенным в личностную сферу человека, т.е. чтобы оценить мир нужно пропустить его через себя, через собственное сознание. Таким образом, восприятие и осознание мира человеком оказывается производным от культурно-исторического бытия, поэтому анализ языковой картины мира, транслирующей данное восприятие, дает возможность исследователю выявить ценностные ориентиры личности.

Ранее [2; 3] мы исследовали языковые особенности и особенности языковой картины мира конкретного носителя диалекта – А.В. Медведевой, 1913 г.р., старожилки с. Быстрый Исток. Наблюдая долгое время (2002–2010 гг.) за А.В. Медведевой, мы выявили ценностные ориентиры личности, представленные в ее языковой картине мира. Аксиологический компонент языковой картины мира конкретного носителя диалекта включает ценности как материальной, так и духовной культуры. Однако мы расширили границы исследования – в данной статье представлены наблюдения за старожилками района. Информантами явились старожилы сел района, носители традиционной культуры. Диалектоносители являются коренными жителями Быстроистокского района, не покидающие его пределов продолжительное время; в слабой степени владеют литературной речью, знают местные традиции и обычаи, фольклор и историю села. Обычно наиболее культурно содержательный материал во время диалектологических экспедиций записывается нами у пожилых (от 75 лет) женщин с невысоким образовательным цензом и социальным статусом.

История села Быстрый Исток имела колоссальное значение в формировании материальной и духовной культуры. Влившись за полстолетия (1865–1915 гг.) в население Алтая российские переселенцы составили преобладающую массу сельских жителей, среди которых старожилы, то есть потомки более ранних русских переселенцев, остались в меньшинстве. Местные жители восприняли от переселенцев различные сельскохозяйственные орудия труда, некоторые ремесла и промысла – новую культуру. Иными словами, в результате контактирования переселенцев и старожилов Быстроистокского района региональная культура пополняется особенностями земледелия, растениеводства, различными орудиями труда – тем, что составляет материальную культуру крестьянина, что находит свое отражение в лексике. Таким образом формируется и историко-культурная региональная традиция.

Переселение в Сибирь носило масштабный характер, большая часть поселившихся на Алтае прибыла из России, что подтверждает и региональный языковой материал:

*«Вот прабабушка была с Тамбовской области»* (Токарева Е.Н., 1919 г.р.).

Старожилы говорят также о том, что их прадеды с семьями были раскулачены и высланы в Сибирь на поселение.

*«Прабабушка приехала – отцова мать. Ну, она говорила, из какой-то России. Здесь была тайга – всё вырубали. Моего отца бабушка и моей матери мать – они были репрессированные – и их, как тогда говорили, раскулачивали. Мать отцова приехала из какой-то России»* (Копылова В.П., 1935 г.р.).

*«Дед и прадед, я его помню немножко, уже три класса кончила. Из Тамбовской области. Оттуда они пришли и стали заселять вот это место, понравилось им то, что река близко, конечно, всё тут было зарушено. Всё вырубали, выкорчевывали и строили себе избы. Ну, климат понравился»* (Гончарова А.А., 1922 г.р.).

*«Мои родители-то, оне отсюда, а еще у их, у тётки, дед из России, из России пришли. Ну, и вот мужик-то у куме, у Мулючихе-то, знаешь Мулючиху-то? Вот её Степан-то тоже оттуда пришёл, из России»* (Зверева У.А., 1915 г.р.).

Как видно из контекстов, в сознании старожилов Россия, то есть территория, лежавшая западнее Уральских гор, представляется, наряду с Тамбовской, Воронежской губерниями, а также Подмосковьем, какой-либо конкретной областью России, неизвестной для них, что подтверждает яркий пример из речи старожилок Медведевой А.В.: *«Мама из Воронежа пришедшая, отец – из России»* (Медведева А.В., 1913 г.р.).

Были также переселенцы из Подмосковья:

*«Отец мой с Подмосковья приехал, и тут он жил»* (Воропаева Л.Ф., 1932 г.р.).

Однако на территории Быстроистокского района проживали не только переселенцы, но и старожилы, потомки ранних поселенцев:

*«А вот мы все здешние, и родители»* (Болобаева А.Ф., 1928 г.р.).

*«Да, родилась я в Покровке. И родители мои тут выросли»* (Лудцева А.Ф., 1926 г.р.).

Так, мы видим, что население района составляли переселенцы и местные жители.

С точки зрения национального состава Быстроистокского района и его роли в формировании региональной историко-культурной традиции также весьма разнообразен. В годы Великой отечественной войны на территорию Быстроистокского района были высланы люди различных национальностей:

*«Тут эти были – молдаване были, калмыки были, гагаузы были. Это после войны, иль в войну. И болгары были, вот все были. Кто после войны женился и остался здесь, кто уехал на родину»* (Воропаева Л.Ф., 1923 г.р.).

В это же время в район гонят калмыков, ведущих кочевой образ жизни, некоторых из них приняли в дома жители сел. Они внесли определенный вклад в развитие садоводства, овощеводства. Своеобразная культура калмыков постепенно смешивалась с культурой местного населения. Отпечатки этой культуры до сих пор сохраняются в жизни старожилов. Из воспоминаний А.В. Медведевой: *«Сделайка чай по-калмыцки. Ох, и вкусный у них чай с маслом, а можно и с салом»*. Сегодня слово *калмык* употребляется в говоре Быстроистокского района в значении неряшливого, глупого человека: *«Совсем как калмыки стали – по две недели в баню не ходят»* (Вогнерубова А.А., 1929 г.р.).

Село Новопокровка Быстроистокского района, как показывает языковой материал, было основано казаками: *«От мамы это слышала, что проходили казаки, и вот на вйтер нас, там были казбеки. И вот туда на ихнюю пулю не смей ни за гектар эти, Божы упаси, или там в забуку за сморудиной, они плетями драли, что не пускали туда. Вот это я от мамы слышала, это мама говорила»* (Воропаева Л.Ф., 1923 г.р.). Сказанное не противоречит историческим фактам о том, что с 1851 года особым положением было образовано Забайкальское казачье войско, в состав которого принудительно были зачислены тысячи крестьян. Казачьи поселения росли очень быстро [4]. Так, казачье поселение на реке Ануй становится небольшим селом.

Так, рассматриваемая нами территория весьма разнообразна с точки зрения ее заселения и национального состава, что доказывает обширный языковой материал. Следует отметить, что история заселения Алтая обусловила функционирование на его территории нескольких типов говоров. Здесь выделяются старожильческие говоры вторичного образования, которые сложились в сибирских условиях в результате взаимодействия разных материнских говоров, занесенных ранними русскими переселенцами [5].

В региональной историко-культурной традиции каждое село Быстроистокского района считается старинным, поскольку здесь сохранилась исконно русская материальная культура. В обиходе старожилов присутствуют предметы быта, орудия труда, надворные постройки, некоторые виды одежды и посуды, соответственно, в говоре функционируют и слова, их обозначающие: *«Дед нынче табака насидил, вот он потом высушит его на полочке, потом нарубит в корытце и носит его в кисете. Я ему сошью кисет...»* (Вогнерубова А.А., 1929 г.р.). *«Хлеб и щас сама пеку, он лучше получается, чем магазинный. Мама меня тогда учила печь. А тут было у рогача палка эта отломилась...»* (Медведева А.В., 1913 г.р.). *«Мама тады зимой в чуниках ходила, а щас попробуй в сенки выйди в чуниках, сразу охватит (в знач. заболеешь), народ слабый стал»*. *«У Вовки в журавле воды набрать – она там чистая»*. (Вогнерубова А.А., 1929 г.р.). *«Кулага полезная, там калина, ее есть надо. Ишь, не нравятся! Городские все стали»* (Гончарова А.А., 1923 г.р.).

Данные диалектные единицы включены в корпус «Словаря русских говоров Алтая» [6], что позволяет на данном

этапе считать их органической частью не только диалектно-го словаря, но и говора Быстроистокского района.

Осуществляемые нами диалектологические экспедиции (2002–2010 гг.) в указанный район открывают новые лексические единицы, яркие контексты их речевого бытования, богатые лингвокультурные и аксиологические коннотации, что способствует более полному описанию культуры региона. Рассмотрим несколько наиболее употребительных лексико-семантических групп слов, обозначающих различные предметы и явления, в «Словаре русских говоров Алтая» и говоре Быстроистокского района. В целом же материальная культура, отраженная в говоре изучаемой местности, представлена стандартно, т.е. включает в себя самые различные атрибуты крестьянской жизни, сохранившиеся в селах в настоящее время. Однако некоторые лексические единицы, не зафиксированные в «Словаре русских говоров Алтая», являются показателями того, что Быстроистокский район, являясь территорией раннего заселения, сохранил в речи старожилов и их обиходе исконно русскую культуру. Представим анализ нескольких лексико-семантических групп, например «Кухонная утварь». Значение **хлебальной чашки** – «глубокая чашка» зафиксировано в «Словаре Русских говоров Алтая». В говоре же старожилов района нами также отмечено функционирование данной лексической единицы при совпадении семантического значения.

Традиционно крестьянские семьи были большими, соответственно и в культуре еды появлялась посуда, отвечающая подобным требованиям: «*Раньше семьи большие были. Вот сядем есть, мама молока нальет в хлебальную чашку, туды хлеба. Вот мы все оттуда и хлябали*». «*И вот обедали: в чашку большую нальют супу и все из одной чашки деревянными ложками хлябют. Вот так вот*» (Зверева У.А., 1915 г.р.).

Сегодня данное наименование сохраняется, но обозначает уже обыкновенную суповую тарелку: – *Поддай-ка хлебальную чашку. – Это какую? – Ну, под суп, глубокою* (Вогнерубова А.А., 1929 г.р.).

Неотъемлемым атрибутом кухни и сегодня в быту старожилов является так называемая **утирка** – «полотенце для рук». Такое же значение зафиксировано в «Словаре русских говоров Алтая». Обычно утирка вешается возле печи или там, где моют руки:

«*Утирку надо чистую повесить, а то Коля придет, он же гребивый такой*». «*Утирка за печкой висит*». «*Куды вот опять утирку заховали?*» (Вогнерубова А.А., 1929 г.р.).

Деревенские жители готовили пищу в русской печи, а для того, чтобы достать из нее чугунок, использовался **ухватник** – «ухват». Данное значение находим в «Словаре русских говоров Алтая». В Быстроистокском районе нами зафиксировано как **рогач**.

«*Вот в чугунок своришь че-нибудь, а вытаскиваш рогачем. Вон он у меня за печей стоит*» (Медведева А.В., 1913 г.р.).

Крестьянский дом обычно состоял пяти стен, поэтому получил название **пятистенник** – «деревянный дом, разделенный капитальной стеной на две части». «*Дома раньше пятистенками звались. Избы были старые, большие избы были. А вот такая мода какая-то была: сенцы, кладовая рублена, в четыре стены дом-то сделаешь, а семья-то большая была*». Большая часть домов старожилов в Быстроистокском районе представляет собой именно пятистенник. Помещение, отделяющее избу от крыльца, называется **сенками** – «помещение между жилой частью дома и крыльцом в деревенских избах». Такое название зафиксировано и «Словаре русских говоров Алтая», в говоре Быстроистокского района нами отмечено как **сенцы, сенки**. «*А он подошёл к воротам и кричит: «Девчонки, идите, девчонки, идите. Кто-то в сенцы подкрадался!». А мы говорим: «Как ты увидишь, кто там в сенки подкрадётся?»*» (Медведева А.В., 1913 г.р.).

В крестьянском небогатом жилище были и предметы домашней обстановки: диван, лавки, палаты. В целом ме-

бель, находящаяся в доме называлась **обстановки**. «*Раньше обстановок не было никаких, так трень-брень*» (Медведева А.В., 1913 г.р.). В «Словаре русских говоров Алтая» данная лексическая единица не зафиксирована. Также не отмечены в Словаре следующие слова:

«*Ну, в гурнице у нас такуй, щас диван, а тада канай-лем звали, во всю стенку сделанный был, а щас чё же, вишь какая мода подошла, а то стулы сами сделают, столы*» (Зверева У.А., 1915 г.р.). «*И вот праздник воскресени, раньше только воскресене отдыхали-то, снохи пойдут на лавки-то, у нас звали кашапёрками, надерёт таки снопы, приташишь, и вся семья сядут и едим ир*» (Медведева А.В., 1913 г.р.).

В настоящее время большинство территорий вторичного заселения имеют разные по объёму, содержанию, исходным принципам, формам сбора и обработки материала диалектные словари, отразившие материальную культуру. Однако подобного рода словари не отражают особенностей духовной культуры старожилов.

Духовная культура старожилов Быстроистокского района отражена, по нашему мнению, в том содержании, которым наполняются в их сознании такие понятия, как **Бог, Ангел, Судьба, Грех, Жизнь, Смерть, Рай, Ад, Святые, Богоматерь, Церковь** составляющих лексико-семантическую группу «**Вера**». В «Словаре русских говоров Алтая» зафиксировано одно значение слова **Бог**: «**Бог** – «икона» (Солт.) [6, с. 23]. Данное представление о Боге общее, лишённое личностной окраски, оно является общепринятым: «**Бог** на небе сидит. **Бог** – эта старенький старишок» (Таманова Е.Е., 1918 г.р.). Однако такие понятия как **Бог, ангел, судьба, грех** и др. формируются в сознании диалектоносителей индивидуально, независимо от коллективного знания о религии. Например, по мнению Медведевой А.В., **святий дух** и **ангел** существуют: «*Вот святий дух есь. Када женщина рожает, он стоит за окном и судьбу ему нарекает: кака жисть ему, кака смерть у него будет. Святий дух из человека выходит, када он умирает*». «*Ангел сидит на окошечке и ножки свесит, и его видно*».

Вера приобретает особенное значение именно в селах, где объединяющим людей началом является церковь. В церкви, по словам старожилов, происходило чудотворное исцеление, божественное благословение верующих. Из речи старожилов: «*А вот такой случай был при моей жизни. В церковь вот подашли причащаца, мальчика подняли, так годов пяти, наверно, а он забряхал по-собачьему прям – испорченный. Подняли, а он забряхал. А одна женщина тоже там была. Вместе сядели, она тоже подошла и тоже забряхала, как собака*». Православные праздники, заветные межпоколенной традицией, отмечались всегда – данные регламентации прочно укоренены в сознании старожилов: «*Ну да праздник Троица была уодавая. На Троицу вот первый день отпразднывают, а на второй – ходили к часовинке. А миру страсть сколь там было. Вот так вот. А на Паску празник За водой всю Паску с иконами ходили. Вот первый день отслужут, отдохнуть, а на второй день каждому в двор захуд`ут с иконами, отслужут в каждом доме, во второй переходят. Всю Паску ходили служили, всю сяло пройдут – служили. Пристольный?! Ну дык, Паска, Покров, Троица, Ржаство – три пражника уодовых был*» (Королькова Е.А., 1938 г.р.).

Грех в сознании старожилов представляется по-разному, как то:

«*Грех, знаешь, вот стираться грех большой вот на родителей (родительский день) и в пять, и в середь*» (в пятницу и в среду) (Зверева У.А., 1915 г.р.). «*Самый большой грех-то – воровать, убивать. Это самый большой грех*» (М.Н. Михалёва, 1918 г.р.). «*Страшный грех – аборты делали, самый страшный грех, убивать детей, а мы делали. Осуждение, осуждать, человека, а терпения иной раз не хватает*» (Л.Ф. Воропаева, 1932 г.р.). «*Ды какой урех, вот не нужно это драца. Вот это грех большой*. (А.Е. Тимчева, 1928 г.р.). «*Наказанье не на том свете, а на этом*



свете. И мне то наказание, как я долго живу-то. Я – то велика грешница. Дитя одново погубила. Эта самый страшный грех в мире» (Медведева А.В., 1913 г.р.). «Убивать – грех» (Болобаева А.Е. 1929 г.р.).

Такое понятие, как *жизнь* сложно поддается определению, однако А.В. Медведева, обладая способностью к рефлексии и ярким образным сознанием, дает следующий ответ: «Дети и внуки да правнуки есть у меня, а это же я. Слава тебе, Господи, што прожила *жисть*» (1913 г.р.).

Таким образом, в лексико-семантическую группу «*Вера*» входят следующие лексические единицы: *Бог, святой дух, церковь, церковные праздники, грех, наказание, жизнь*. Данные понятия, являясь сферой чувственного восприятия, от-

ражают ценности духовной культуры, определяют мировоззрение, формируют аксиологический каркас личности. Данные примеры позволяют увидеть систему взглядов на мир. Подобное мировидение старожилов района отличается образностью мышления («*Ангел сидит на окошечке и ножки свесит, и его видно*»), и, как следствие, способностью создавать яркие речевые явления, отражающие духовную культуру данного общества, национальную принадлежность личности, ее мировоззрение. В заключении хотелось бы отметить, что создание подобного рода словарей «духовной культуры» существенно повысит исследовательский потенциал в разрешении вопроса о национальном русском менталитете, имеющем междисциплинарное значение.

#### Библиографический список

1. Потебня, А.А. Слово и миф в народной культуре. – М., 2000.
2. Прокофьева, Е.В. Особенности фонетической системы Быстроистокского района // Филология и культура / Под ред. Л.М. Дмитриевой, А.И. Куляпина. – Барнаул, 2008. – Вып. 4.
3. Прокофьева, Е.В. Социокультурные условия формирования миропонимания конкретного носителя диалекта // Вопросы филологических наук. – 2009. – № 6 (40).
4. Русские старожилы Сибири. Историко-антропологический очерк / под ред. В.В. Бунака, И.М. Золотарева. – М., 1973.
5. Любимова, О.А. К вопросу о заселении Алтайского края в XVIII в. в связи с историей формирования старожиловских говоров // Языки и топонимия Алтая. – Барнаул, 1981.
6. Словарь русских говоров Алтая: в 4-х т. / под ред. И.А. Воробьевой, А.И. Ивановой. – Барнаул, 1993.

#### Bibliography

1. Potebnya, A.A. Slovo i mif v narodnoy kul'ture. – M., 2000.
2. Prokofjeva, E.V. Osobennosti foneticheskoy sistemy Bystroistokskogo rayona // Filologiya i kul'tura / Pod red. L.M. Dmitriyevoy, A.I. Kulyapina. – Barnaul, 2008. – Vihp. 4.
3. Prokofjeva, E.V. Sociokul'turniye usloviya formirovaniya miroponimaniya konkretnogo nosityela dialekta // Voprosih filologicheskikh nauk. – 2009. – № 6 (40).
4. Russkie starozhilil Sibiri. Istoriko-antropologicheskij ocherk / pod red. V.V. Bunaka, I.M. Zolotareva. – M., 1973.
5. Lyubimova, O.A. K voprosu o zaselenii Altajskogo kraja v XVIII v. v svyazi s istoriej formirovaniya starozhilicheskikh govorov // Yazihki i toponimiya Altaya. – Barnaul, 1981.
6. Slovarj russkikh govorov Altaya: v 4-kh t. / pod red. I.A. Vorobjevoy, A.I. Ivanovoy. – Barnaul, 1993.

Статья поступила в редакцию 29.10.11

УДК 41+414.42 (571.52)

Seglenmey S.F. THE NOISY VELAR CONSONANTS OF THE TUVAN LANGUAGE. In this article are specified the nomenclature of the noisy velar consonants of the Tuvan language, which are based on modern methods, allophonic realization of these phonemes, a description of full characteristics of phonemes according to their constitutively-differential features.

**Key words:** the phoneme, allophone, nomenclature of phonemes, noisy velar consonant, distribution, articulation, acoustic parameters, constitutively-differential features.

**С.Ф. Сегленмей, ст. преп. каф. теории и методики преподавания русского и тувинского языков в начальной школе Тувинского государственного университета, г. Кызыл, E-mail: sfseglenmey@mail.ru**

## ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЕ ШУМНЫЕ СОГЛАСНЫЕ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА

В статье на основе современных методов уточняется состав заднеязычных шумных согласных фонем тувинского языка, выявляются аллофоны этих фонем, дается описание артикуляций и акустические параметры согласных, определяются полные характеристики фонем по их конститутивно-дифференциальным признакам.

**Ключевые слова:** фонема, аллофон, инвентарь фонем, заднеязычный согласный, дистрибуция, артикуляция, акустические параметры, конститутивно-дифференциальные признаки.

Исследование фонетики тувинского языка приобретает все более углубленный характер. Работы Ф.Г. Исхакова, А.А. Пальмбах, А.Ч. Кунаа, К.А. Бичелдея, С.Ф. Сегленмей, С.В. Кечил-оол, И.Д. Дамбыра стали достаточно надежной основой для решения многих теоретических и практических вопросов тувиноведения и являются исходной базой для изучения ареальных явлений и сравнительно-исторических реконструкции в тюркологии. Однако остается еще немало аспектов, требующих исследования или уточнения с помощью новых методов и современных технологий. Один из таких аспектов – инвентарь согласных фонем современного тувинского языка, который представлен в работах тувиноведов неоднозначно.

В данной статье предлагается попытка уточнения инвентаря шумных заднеязычных согласных фонем и их аллофонов. Исследование проводилось на основе комплексной методики аудио-визуального наблюдения и лингвистического функционального анализа. Описание иллюстрируется дентопалатограммами, рентгенограммами и образцами звуковых файлов, полученных и обработанных с помощью компьютерных программ Speech Analyzer и Cool Pro; каждой фонеме дается полное определение по ее конститутивно-дифференциальным признакам.

Заднеязычные согласные тувинского языка вызывают определенный интерес еще и в том плане, что в своих проявлениях они отражают типично тюркскую заднеязычно-уву-

лярную артикуляцию, которая в топографии неба охватывает почти одну треть твердого неба и всю широкую область велярной зоны (VELAR REGION), включая небный язычок (UVULA PALATINA), и отчасти фаринкс (PHARYNX), а активным преградообразующим органом может быть не только задняя часть спинки языка, но и корень языка.

Доминирующие базовые черты консонантных артикуляций определяются местом и способом образования. Как отмечает А.И. Томсон, «в каждом языке существуют общие особенности в артикуляциях, объясняемые главным образом приобретенными привычками в движениях и связанных с ними развитием соответствующих мускулов органов речи» [1]. По мнению В.М. Наделеева [2], место локализации артикулирующих органов и способ образования – признаки, тесно связанные с понятием артикуляционно-акустической базы (ААБ). Он считает, что ААБ представляет собой систему определенных навыков в единстве с акустическими эффектами, которые передаваясь из поколения в поколение, становятся свойством этноса, и как субстрат ААБ может продолжать доминировать даже при переходе этноса на другой язык.

Заднеязычные согласные фонемы тувинского языка имеют широкое применение в звуковом оформлении слов и морфем. И хотя сильная заднеязычная фонема [x], в силу того, что ограничена исключительно инициальной позицией,

при преимущественно агглютинирующем слово- и формообразовании тувинского языка не может участвовать в этом процессе, что, между прочим, свойственно для всех сильных согласных. Зато слабая заднеязычная фонема [k] может употребляться в самых разнообразных позициях, сочетаться со всеми гласными и с большинством согласных.

Состав заднеязычных шумных согласных фонем тувинского языка исследователями определяется по-разному. У А.А. Пальмбах они представлены как следующие согласные: (k<sup>h</sup>), k, [ɛ], x, ɣ, h [3]; у Ф.Г. Исхакова: [x], [k-ɛ], [h] [4]; у Ш.Ч. Сата: [x], [k-ɛ], [ɛ, q] [5]; у В.М. Наделеева это проявления двух фонем: [x], [g]; у А.Ч. Кунаа также 2 фонемы: x, k [6]; у К.А. Бичелдеа: [x], [k-ɛ] [7]. Такое неоднозначное толкование фонемного состава и аллофонов заднеязычных, видимо объясняется многообразием оттенков, обусловленных фонетическим окружением. Действительно, с учетом сингармонических проявлений по рядности, нами предварительно были выявлены, до экспериментальной проверки, на основе аудио-визуального метода и по мускульным ощущениям заднеязычные согласные пока на уровне фонем переднемягконебные – «x, k, g, ɣ, ɲ», и заднемягконебные – «χ, q, ɜ, C, η», которые соответственно приурочены к мягкорядной или твердорядной позиции. Дистрибуция заднеязычных согласных представлена в совмещенной таблице 1.

Таблица 1

Дистрибуция заднеязычных согласных [x], [k], [ɣ], [ɲ]

№ п/п	[C]V <sub>b</sub> =	[C]V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>1</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>1</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>1</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>1</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>2</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>2</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>3</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>3</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>3</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>3</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>3</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>3</sub> V <sub>b</sub> =	=V <sub>b</sub> [C]C <sub>3</sub> V <sub>b</sub> =
1.	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	q	k	C	ɣ	q	k	q	k	-	-	C	ɣ	C'ɜ	ɣ'g	-	-	q
3.	-	-	C	ɣ	-	-	-	-	C	ɣ	C	ɣ	-	-	-	-	C
4.	-	-	η	ɲ	-	-	-	-	η	ɲ	η	ɲ	-	-	η	ɲ	η

Анализ данного распределения позволяет выделить следующие фонематические отношения:

1. В инициально-превокальной позиции CV<sub>b</sub>= звуки типа «k» и типа «x»: **хем** «хем'» 'река' – **кем** «кем'» 'вина', **хир** «хир'» 'грязь' – **кир** «кир'» 'заходи' находятся в отношениях контрастирующей дистрибуции, что дает основание считать их проявлениями двух разных фонем, первую обозначить символом [k8], вторую – символом [x];.

2. Медиально-интервокальные и пресонантные звуки типа «ɣ» и типа «g» с инициально-превокальными и поствокально-финальными звуками типа «k» находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, так как при словоизменении в зависимости от позиционно-комбинаторных условий они обязательно взаимозаменяются: **хек** «хек'» 'кукушка' – **хеги** «хеги'» 'его кукушка', **кек** «кек'» 'синий' – **кегу** «кегу'» 'синеват'; кроме того, инициально-превокальные звуки типа «k» во внешнем сандхи замещаются звуками типа «ɣ» и типа «g» **хем кечер** «хем'кеч'» 'перейти реку', **эле кек** «эле'кек'» 'сивый'. Следовательно, эти звуки являются аллофонами фонемы [k8], выявленной выше.

3. Что касается отношений финальных поствокальных согласных типа «k» и типа «ɣ», которые находятся в отношениях контрастирующей дистрибуции, нет сомнений в том, что они являются аллофонами двух разных фонем. Это подтверждается и серией приведенных выше примеров, в которых данные звуки выступают как представители разных фонем, поддерживая собой разные значения слов. Кроме того, "поведение" фонемы [ɣ<] при словоизменении

также отличается от фонемы [k8], в частности, при образовании некоторых грамматических форм аллофоны фонемы [ɣ<] элиминируются, например, бег «pɣɣ» 'свекор' – бээ «pɣε» 'ее свекор', тиг «tɣ'ɣ» 'шов' – тии «tɣ'i'» 'его шов', дег «d'εɣ» 'касаться' – дээр «d'ε:ɣ» 'прикоснись'; этот процесс для данной фонемы не знает исключения, в то время как для фонемы [k8] возможна и мена «kɣ/ɣg» и исчезновение тик «tɣik» 'ноль' – тиги «tɣixi'» 'его ноль', белек «p'εlek'» 'подарок' – белээ «p'ελε'» 'его подарок' и т.д. Поэтому финальные звуки типа «k» отождествляются с фонемой [k8], а финальные звуки типа «ɣ» выделяются как противостоящие им аллофоны другой фонемы, обозначаемой условно символом [ɣ<] «ɣ, ɣ'».

4. Контрастирующая дистрибуция звуков типа «ɲ» во всех позициях, в которых они возможны, по отношению к проявлениям фонем [k8] и [ɣ<] позволяет выделить особую фонему [ɲ], «ɲ, ɲ'».

Таким образом, дистрибутивным анализом выявляются следующие заднеязычные переднемягконебные фонемы: 1) [x]; «x, x'»; 2) [k8] k, k', g, g', ɣ, ɣ'; 3) [ɣ<] «ɣ, ɣ'»; 4) [ɲ], «ɲ, ɲ'».

Анализ вокального окружения реализаций заднеязычных переднемягконебных и заднемягконебных согласных, дистрибуция которых совмещенно представлена в таблице 1, позволяет констатировать, что эти две группы звуков находятся между собой в отношениях дополнительной дистрибуции, а именно: переднемягконебные звукотипы «χ»,

«k», «g», «y», «ŋ», как правило, используются в синтетических словоформах простых лексем с мягкорядным составом гласных (ε, ε̃, ε̄, i, ĩ, ī, J, J̃, J̄, y, ỹ, ȳ), а заднемягконебные звукотипы «χ», «q», «ɑ», «C», «ŋ» – с твердорядным составом гласных (a, ã, ā, o, õ, ō, s, s̃, s̄, u, ũ, ū).

Из сказанного выше следует, что эти фонологические неперекрещивающиеся ряды согласных, обусловленные вокальными осями, могут быть только аллофоническими проявлениями соответствующих фонем, выявленных в группе заднеязычных переднемягконебных согласных. А именно, инициально-превокальные звуки типа «χ» в твердорядной оси идентифицируются с фонемой [x:], реализующейся в мягкорядной оси, в качестве ее позиционно-комбинаторных оттенков; инициально-превокальные и финальные звуки типа «q» и медиальные преконалантные звуки типа «ɑ» и типа «C» отождествляются с фонемой [k88] как ее контекстные реализации. Что касается финальных звуков типа «C», очевидно, что это дополнительно распределенные аллофоны фонемы [y:]. Звуки типа «ŋ», противопоставленные по всем позициям заднеязычным фонемам, выявленным выше, так же как оттенки фонемы [ɫ], могут быть только ее аллофонами в твердорядной вокальной оси.

В результате анализа дистрибуции заднеязычных согласных звуков тувинского языка выявлены следующие фонемы с их позиционно-комбинаторными оттенками: 1) [x:] «x, x̃, x̄, χ̃»; 2) [k88] «k, k̃, q, q̃, g, g̃, ɑ, ɑ̃, y, ỹ, C, C̃»; 3) [y:] «y, ỹ, C, C̃»; 4) [ɫ] «ɫ, ɫ̃, ŋ, ŋ̃».

#### Качественные и количественные характеристики шумных заднеязычных согласных фонем

Цель данного раздела – уточнить артикуляционные и акустические параметры реализаций заднеязычных согласных тувинского языка. Для определения артикуляций были использованы соматические методы рентгенографирования и дентопалатографирования. Акустические признаки определялись по результатам пневмоосциллограмм и частично электроакустического анализа компьютерных файлов – ме-

тодов, разработанных и используемых в ЛЭФИ ИФ СО РАН В.М. Надеяевым [2], И.Я. Селютиной [8] и др.

#### Фонема [x:]

Звуки типа «χ» как твердорядные оттенки и звуки типа «x» – как мягкорядные, являются манифестациями фонемы [x:], которые употребляются только в инициально-превокальной позиции в сочетании со всеми гласными, кроме фарингализованных.

#### Артикуляторная характеристика

Идентичные артикуляторные настройки данной фонемы получить методом рентгенографирования по условиям эксперимента невозможно из-за ограниченности ее инициальной позиции, но, так как это щелевой согласный его можно тянуть; опираясь на данное качество, было решено сделать пробные рентгенограммы – они оказались вполне пригодными для определения места образования фонемы, хотя не претендуют на достаточную объективность – так же, как и дентопалатограммы, которые для заднеязычных малоинформативны, но, дополняя друг друга, могут дать представление об артикуляции этой фонемы. Твердорядные оттенки представлены в словоформах: хаа «χа:» 'слуга', хоо «χо:» 'рамка'; мягкорядные – в словоформах: хеп «хер» 'одежда', хээ «хэ:» 'узор' в произнесении диктора – 2.

По данным рентгеносхем твердорядные оттенки образуются при сближении задней части спинки языка с мягким небом; наибольшее сужение щели происходит между участком задней части спинки языка, примыкающим к межзубной части, и краем небной занавески, но без увулы, а именно – небно-язычковой дужкой (arcus glosso-palatinus), которая по бокам смыкается с латеральными участками задней части спинки языка, образуя желобок; увула, первая половина которой приподнята вверх, а вторая ниспадает, упираясь в заднюю стенку носоглотки, обеспечивает ротовый про-

ход воздуха (индекс  $\frac{1}{2}$  de;  $9\frac{1}{4}$ ). Корпус языка оттянут назад, кончик языка и передняя и средняя части спинки языка проецируются на дентальный склон твердого неба (рис. 1, рис. 2).

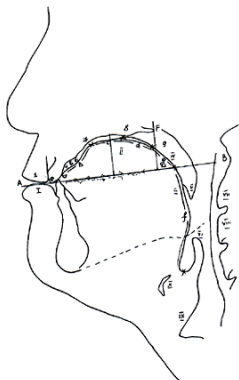


Рис. 1. Рентгенограмма нейтрального положения органов речи – Д. 2.

При образовании мягкорядных оттенков активным органом выступает  $\frac{1}{3}$  межзубной части и смежный участок задней части спинки языка, приподнятые в большей части к твердому небу и в меньшей – к области мягкого неба; часть увулы приопущена, продолжая контур мягкого неба, другая половина выгнута вверх и смыкается с задней стенкой фаринкса; корпус языка тоже оттянут назад, но в меньшей степени, чем при твердорядных оттенках, т.к. кончик языка проецируется на гребень альвеол.

На дентопалатограммах твердорядных оттенков следов контакта языка с небом – узкая полоска или не обнаружива-



Рис. 2. Рентгенограмма оттенка фонемы [x:] в словоформе хаа «χа:» 'слуга' – Д. 2.

ется – свидетельство того, что locus образования данных оттенков находится за пределами искусственного неба. При образовании мягкорядных оттенков обнаруживается небольшой след отпечатков латеральных участков задней части спинки языка на задней половине твердого неба до его  $\frac{1}{5}$  части, заходя на лингвальные склоны больших коренных моляров и их боковых альвеол (индекс  $\frac{1}{5}$ ;  $\frac{34}{34}$ ).

По описанию профилей на рентгенограммах и отпечатков на искусственном небе фонеме [x:] можно охарактеризовать как заднеязычную мягконебную по твердорядным

оттенкам; как межзубноязычно-заднеязычную твердонеб-но-мягконебную по мягкорядным оттенкам (рис. 3, рис. 4).

Качественно-количественная характеристика

По данным пограмм фонема [x:] в твердорядных словоформах реализуются преимущественно в глухих щелевых оттенках со звонкой экскурсией: « $\chi i^C$ », « $\chi^C-i^C$ », « $\chi i^O$ », реже – с глухой щелинностью в отступе: « $\chi i^F$ », « $\chi i^h$ ». Средняя относительная длительность оттенка составляет 108,1%

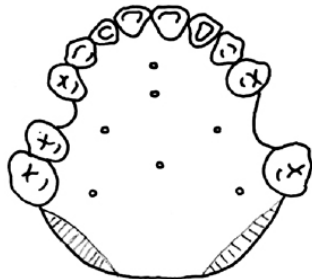


Рис. 3. Дентопалатограмма оттенка фонемы [x:] в словоформе хoo «хo:» 'рамка' – Д. 3.

### Фонема [k8]

Фонема [k8] в тувинской графике обозначается двумя буквами – **к** и **г**; употребляется довольно широко: в инициально-превокальной позиции CV= перед всеми гласными; в медиальной преконсонантной позиции =VLC<sub>1</sub>V= и постконсонантной =VC<sub>1</sub>LC<sub>1</sub>V= позициях с глухими согласными из группы C<sub>1</sub>; в медиальной постконсонантной позиции с согласными из группы C<sub>3</sub> =VC<sub>3</sub>LC<sub>1</sub>V=, в интервокальной =VCV= и финальной поствокальной позиции =VLC<sub>1</sub>.

Артикуляторная характеристика

Твердорядные глухие оттенки типа «q» данной фонемы представлены на рентгенограммах и дентопалатограммах в словоформах: **пак** «paq» 'глоток', **пок** «p]oq» 'мусор', **оэк** «o`q» 'пуля', **маак** «ma:q» 'лента', **ук** «uq» 'чулок', **баэк** «pa`q» 'плохой'.

Анализ рентгенограмм позволяет установить, что артикуляция твердорядных оттенков фонемы [k8] осуществляется преимущественно задней частью спинки языка, но включая и небольшую долю смежной с ней межзубной

части (индекс  $\frac{1}{4}$  е), которые смыкаются с мягким небом. В зависимости от окружающих гласных, смычный или щелевой фокус может несколько сдвигаться вперед или назад, зона контакта может быть больше или меньше. В частности, на рентгенограмме смычной выдержки согласного «q» (в словоформе **пак** «paq» 'глоток' (рис. 5)) активный участок –



Рис. 5. Рентгенограмма оттенка фонемы [k8] в словоформе пак «paq» 'глоток' – Д. 2.

Твердорядные звонкие щелевые оттенки типа «C», проявляющиеся у данной фонемы в интервокальной позиции, по рентгенограммам в словоформах: **агы** «aCs» 'его

СДЗ при разбросе 97,6-149,8% СДЗ, звонкий компонент составляет 10,2% ОДО.

В мягкорядных словоформах доминируют глухие щелевые оттенки с озвонченным отступом: « $\chi i^V$ », « $\chi i^V-$ », « $\chi i^V$ ». Средняя относительная длительность оттенка составляет 101,2% СДЗ при разбросе 93,6-152,1% СДЗ; длительность звонкого компонента – 12,1% ОДО.

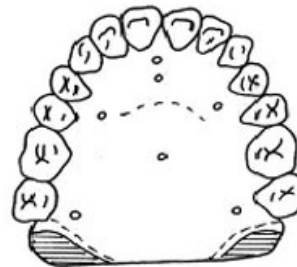


Рис. 4. Дентопалатограмма оттенка фонемы [x:] в словоформе хаа «ха:» 'слуга' – Д. 1.

$\frac{1}{4}$  межзубной части спинки языка и вся задняя часть спинки языка плотно сомкнуты с мягким небом и увулой; корпус языка приподнят и отодвинут в направлении к задней стенке фаринкса, кончик языка спроецирован на задний склон альвеол (индекс  $4\frac{1}{2}$ ). По слуховому восприятию и тактильным ощущениям после смычной выдержки следуют взрывной отступ и выход воздушной струи через рот.

Если же судить по рентгенограмме финального поствокального «q» после «u» в словоформе **ук** «uq» 'чулок', то площадь контакта явно меньше, т.к. можно констатировать участие только задней части спинки языка; она смыкается с последней третью мягкого неба и только частично – с увулой, кончик которой свисает вдоль спинки языка, не касаясь, несколько отступая от нее; кончик языка проецируется на задний склон альвеол – признак того, что корпус языка еще более оттянут назад и вверх в коартикуляции с «u»

(индекс е;  $9\frac{1}{3}$ ;  $\frac{1}{2}$  10).

При дентопалатографировании твердорядных глухих оттенков типа «q» в тех же словоформах следы контактов на искусственном небе или совсем отсутствуют, или очень слабые – в виде узкой полосы по краю твердого неба, пограничному с мягким – в зависимости от гласного, в частности, в сочетании с кратким или долгим «а», «а:», а у диктора 1-77 – также с кратким и долгим «о», «о:» (рис. 6).

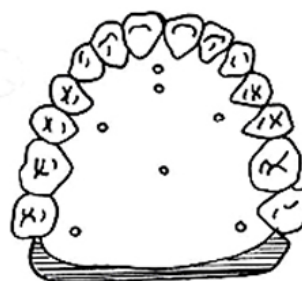


Рис. 6. Дентопалатограмма оттенка фонемы [k8] в словоформе пак «paq» 'глоток' – Д. 1.

белизна', **угу** «uC`u» 'его чулок', **багы** «pa`Cs» 'его недос-татки' артикулируются также участком задней части спинки

языка с участием  $\frac{1}{3}$  межзубной части, которые предельно сближаются с задней половиной мягкого неба и с увулой,

образуя очень узкую щель (индекс  $\frac{1}{2}$  10), через которую продуцируется фриктивный согласный. Отсутствие отпечатков на дентопалатограммах оттенков типа «С» в словоформах **агы** «аСs» 'попынь', **пага** «рjаСа» 'лягушка', **маагы** «та:Cs» 'его лента', **погу** «рj'оC'и» 'его мусор' свидетельствует о том, что фокус артикуляции данных оттенков находится вне пределов искусственного неба.

Мягкорядные оттенки фонемы [k8] представлены рентгенограммами и дентопалатограммами финально-поствокальных звуков в словоформах: **бек** «р'εk» 'оковы', **εк** «Jk'» 'глотка', **зэк** «ε:k» 'нагнись', **εек** «J:k'» 'пуговица', и интервокальных оттенков в словоформах: **беги** «р'εγi» 'его оковы', **згзз** «εγз:ε» 'рашпиль', **εегγ** «J:γ'γ'» 'его пуговица'.

По показаниям рентгенограмм, мягкорядные оттенки типа «k» данной фонемы артикулируются в основном межзубной частью спинки языка с включением лишь небольшой доли задней части при смыкании ее со смежным участком мягкого и твердого неба. В частности, в словоформе **бек** «р'εk» 'оковы' (рис. 7), активный орган – вся межзубная часть спинки языка и лишь небольшой участок задней части

(индекс d  $\frac{1}{8}$  e) плотно смыкаются с последней четвертью

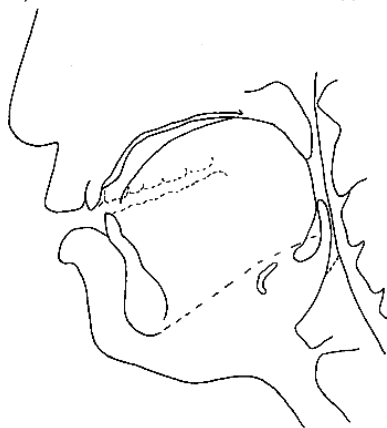


Рис. 7. Рентгенограмма оттенка фонемы [k8] в словоформе **бек** «р'εk» 'оковы' – Д. 2.

Качественно-количественная характеристика

Фонема [k8] в инициально-превокальной позиции CV= чаще всего проявляется в глухих смычно-щелинных оттенках со звонким отступом типа «q<sup>x</sup>C», «k<sup>x</sup>Y», со средней относительной длительностью 102,1% СДЗ при разбросе 54,6-135,2% СДЗ (реже – в оттенках типа «q<sup>h</sup>C», «q<sup>i</sup>C», «k<sup>i</sup>Y», «k<sup>i</sup>iY», средняя относительная длительность которых – 76,4% СДЗ при разбросе 86,2-119,5 % СДЗ); относительная длительность щелевых компонентов составляет 15,7% ОДО; звонкий компонент составляет 12,9% ОДО; СОД смычного компонента – 39,4% ОДО.

В медиально-преконсонантной позиции с согласными из группы C<sub>1</sub> = VC<sub>1</sub>C<sub>1</sub>V= фонема [k8] реализуется в глухих щелинно-смычных оттенках с щелинным озвонченным приступом, типа «C<sup>i</sup>q», «Y<sup>k</sup>Y», средняя относительная длительность которых составляет 73,7 % СДЗ при разбросе 61,2-103,0% СДЗ; средняя относительная длительность звонких щелинных компонентов – 15,8% ОДО при разбросе 11,3-21,6% ОДО; а также в щелинно-смычных оттенках типа «C<sup>h</sup>q», «Y<sup>x</sup>Y», «Y<sup>k</sup>Y» со средней относительной длительностью 76,8% СДЗ при разбросе 58,5-119,7% СДЗ; относительная длительность смычного компонента – 61,5% ОДО.

твердого неба и смежной с ней  $\frac{1}{3}$  мягкого неба; хотя корпус языка приподнят и отодвинут назад, видно, что в целом он не так оттянут, как при твердорядном оттенке, т.к. кончик языка проецируется на лингвальный склон верхних резцов, увула упирается в заднюю стенку фаринкса, не соприкасаясь со спинкой языка, воздух, выброшенный толчком во время взрывного отступа, выходит через канал рта.

По отпечаткам дентопалатограмм финального звука в словоформе **зэк** «ε:k» 'нагнись', фиксируется контакт спинки

языка на  $\frac{1}{3}$  твердого неба; отмечаются следы прикосновения латеральных участков спинки языка с дентальными склонами моляров и альвеолами до их гребня (рис. 8).

На аналогичных отпечатках и в других словоформах с мягкорядными оттенками фонемы [k8] следы контакта с твердым небом больше, что свидетельствует о значительной продвинутой корпус языка вперед, по сравнению с твердорядными оттенками.

Таким образом, мягкорядные оттенки, первоначально по традиции определенные как заднеязычно-увулярные, следует считать межзубно-язычными твердонебно-

мягконебными с точной фонической транскрипцией  $\frac{1}{5}$  d;

$\frac{1}{4}$  8  $\frac{1}{3}$  ;  $\frac{35}{35}$  ;  $\frac{35}{35}$  .

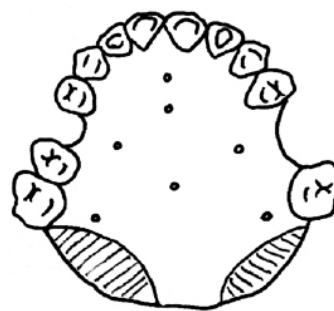


Рис. 8. Дентопалатограмма оттенка фонемы [k8] в словоформе **бек** «р'εk» 'оковы' – Д. 3.

В медиально-постконсонантной позиции =VC<sub>1</sub>C<sub>1</sub>V= фонема [k8] проявляется в глухих смычно-щелинных оттенках со звонким отступом типа «q<sup>i</sup>C», «k<sup>i</sup>Y», «q<sup>h</sup>C», «k<sup>x</sup>Y» со средней относительной длительностью 81,3% СДЗ при разбросе 43,1-131,3% СДЗ; относительная длительность щелинных компонентов – 11,2% ОДО при разбросе 7,4-29,5% ОДО, длительность смычного компонента – 63,7% ОДО.

В медиально-постконсонантной позиции =VC<sub>3</sub>C<sub>3</sub>V=, а именно, с сонантами типа «m», «n», «ŋ», фонема [k8] представлена преимущественно смычными звонкими оттенками типа «C<sup>h</sup>q», «Y<sup>h</sup>Y» с щелинными компонентами в начале и в конце; их средняя относительная длительность – 71,8% СДЗ при разбросе 47,5-109,2% СДЗ; относительная длительность щелинных приступов представлена разбросом 10,8-24,9% ОДО; относительная длительность щелинных отступов – 11,2-23,7% ОДО. Реже встречаются смычно-щелинные оттенки типа «C<sup>h</sup>q», «g<sup>i</sup>Y», средняя относительная длительность которых составляет 79,3% СДЗ при разбросе 50,3-121,1% СДЗ.

В позиции =VC<sub>3</sub>C<sub>3</sub>V= в сочетании с сонантами типа «l», «r», «j» фонема [k8] реализуется в основном в полностью щелевых оттенках типа «C<sup>h</sup>C», «Y<sup>h</sup>Y», со средней относительной длительностью 73,9% при разбросе 32,1-116,4%

СДЗ; иногда фонема проявляется в узкощелевых оттенках типа « $\underline{C}^C$ », « $\underline{y}^y$ », средняя относительная длительность которых в пределах 42,3-128,4% СДЗ.

В финально-поствокальной позиции « $\underline{C}^C$ » фонема [k8] реализуется как в глухих смычных оттенках типа «q<sup>q</sup>», «k<sup>k</sup>» с глухим щелинным отступом, так и в смычных оттенках со звонким щелинным приступом и глухим щелинным отступом, типа « $\underline{C}^C q^q$ », « $\underline{y}^y k^k$ ». Средняя относительная длительность первых составляет 85,8% СДЗ, вторых – 97,3% СДЗ при разбросе 50,8-144,7% СДЗ и 47,8-169,3% СДЗ соответственно; относительная длительность щелинных компонентов в отступе – 17,2% при выдержке смычного компонента – 80,8% ОДО.

Итак, артикуляторные и качественно-количественные параметры, выявленные инструментальными методами позволяют установить следующие конститутивно-дифференциальные признаки заднеязычных согласных.

1. По активному преградообразующему органу и фонема [x:], и фонема [k8] проявляются как заднеязычные в твердоярдных оттенках, как межзубнозаднеязычные – в мягкорядных оттенках; по пассивному органу первые – мягконебно-увулярные, вторые – твердо-мягконебные. Этот признак для данных согласных не имеет особых различий, поэтому он не является существенным для фонематического контраста.

2. По типу преграды: фонема [x:] возможна только в щелевых оттенках; фонема [k8], употребляясь во всевозможных позициях, может реализоваться как в смычных, так и в щелевых оттенках, причем в инициально-превокальной позиции, в которой она противопоставлена фонеме [x:], она всегда смычная, следовательно, способ образования – щелевой для [x:], а смычный для [k8] – является релевантным признаком.

3. По признакам *глухость/звонкость* фонема [x:] в своих проявлениях обнаруживает себя как глухой соглас-

ный, и даже в интервокале внешнего сандхи ее манифестации всегда глухие. Фонема [k8] по участию голоса неустойчива: в инициально-превокальной позиции, в пре- и постконсонантной позиции с согласными из группы C<sub>1</sub> и финально-поствокальной позиции проявляются ее глухие оттенки типа «k», «q»; в пре- и постсонанте она реализуется в звонких смычных оттенках типа «g», «a» и факультативно – в сонантизированных щелевых оттенках типа «C», «y».

4. По количественным характеристикам фонема [x:] во всех оттеночных проявлениях имеет довольно стабильную протяженность, средняя относительная длительность ее реализаций распределяется в более компактном разбросе (98,7-147,5% СДЗ) в сравнении с фонемой [k8], которая, в частности, в анлауте обнаруживает неустойчивость долготных параметров, что проявляется в значительном разбросе количественных характеристик ее многообразных оттенков (54,6-135,2% СДЗ).

5. Наряду с тем, что у рассматриваемых фонем выявляется противопоставление по способу образования как смычного и щелевого, фонема [x:] по устойчивости своих характеристик по всем параметрам может быть определена как стабильнонапряженный сильный согласный; в противоположность ей фонема [k8], подверженная спонтизации, озвончению, переходящему в сонантизацию, и по неустойчивости долготных характеристик определяется как нестабильнонапряженный слабый согласный.

Таким образом, на основании выявленных признаков заднеязычным согласным даются следующие определения:

Фонема [x:] – согласный шумный глухой заднеязычно-межзубноязычный или мягконебно-увулярный ротовой щелевой стабильнонапряженный сильный.

Фонема [k8] – согласный шумный факультативно малозвонкий глухой или звонкий заднеязычно-межзубноязычный или твердо-мягконебный ротовой смычный или щелевой нестабильнонапряженный слабый.

#### Библиографический список

1. Томсон, А.И. Общее языковедение. – Одесса, 1910.
2. Наделяев, В.М. К типологии артикуляционно-акустических баз ААБ // Фонетические структуры в сибирских языках. – Новосибирск, 1986.
3. Исхаков, Ф.Г. Тувинский язык. Очерк по фонетике. – М.; Л., 1957.
4. Пальмбах, А.А. Система согласных фонем тувинского языка и ее отражение в письменности // Ученые записки ТНПИЯЛИ. – Кызыл, 1956. – Вып. 4.
5. Сат, Ш.Ч. Тувинский язык // Языки народов СССР. Тюркские языки. – М., 1966. – Т. II.
6. Бичелдей, К.А. Гласные тувинского языка в потоке речи. – Кызыл, 1989. – Ч. I, II.
7. Куна, А.Ч. Звуковая система современного тувинского языка. – Кызыл, 1957.
8. Селютин, И.Я. Кумандинский консонантизм. Экспериментально-фонетические исследования. – Новосибирск, 1983.

#### Bibliography

1. Tomson, A.I. Obshche yazykhovedenie. – Odessa, 1910.
2. Nadel'yayev, V.M. K tipologii artikulyacionno-akusticheskikh baz AAB // Foneticheskie strukturih v sibirskikh yazykhakh. – Novosibirsk, 1986.
3. Iskhakov, F.G. Tuvinskiy yazykh. Ocherk po fonetike. – M.; L., 1957.
4. Paljmbakh, A.A. Sistema soglasnykh fonem tuvinskogo yazyhka i ee otrazhenie v pisjmennosti // Ucheniye zapiski TNIIYaLI. – Kihzihl, 1956. – Vihp. 4.
5. Sat, Sh.Ch. Tuvinskiy yazykh // Yazyhi narodov SSSR. Tyurkskie yazyhi. – M., 1966. – T. II.
6. Bichel'dey, K.A. Glasniye tuvinskogo yazyhka v potoke rechi. – Kihzihl, 1989. – Ch. I, II.
7. Kuna, A.Ch. Zvukovaya sistema sovremennogo tuvinskogo yazyhka. – Kihzihl, 1957.
8. Selyutina, I.Ya. Kumandinskiy konsonantizm. Ehksperimentaljno-foneticheskie issledovaniya. – Novosibirsk, 1983.

Статья поступила в редакцию 11.11.11